

ГРАНИ

GRANI

94
1974

Verlagsort: Frankfurt/Main, Oktober-Dezember

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

И

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ. ИЗБРАННОЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

«Посев» и 4 брошюры «Вольного слова»: В Европе — 65 н. м., в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 33 ам. дол., простой почтой — 27 ам. дол.; с дост. обоих изданий по воздуху — 35 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 50 н. м., в США и Канаде возд. почтой — 27 ам. дол.; простой почтой — 22 ам. дол.

Журналистическая подписка на «Посев» и 4 брошюры «Вольного слова», предоставляющая право использовать весь материал, не снабженный «copyright», без предварительного согласования: в Европе — 240 н. м., в остальном мире (с индивидуальной доставкой возд. почтой) — 270 н. м.

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

«Посев» и 4 брошюры «Вольного слова»: в Европе — 78 н. м., в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 40 ам. дол., простой почтой — 32 ам. дол.; с дост. обоих изданий по воздуху — 42 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 60 н. м., в США и Канаде возд. почтой — 32 ам. дол.; простой почтой — 27 ам. дол.; в Австралии — 20 ав. дол. (по воздуху).

Стоимость подписки в неевропейских странах, кроме США, Канады и Австралии, простой почтой — та же, что и в Европе; авиапочтой — с доплатой за пересылку.

Стоимость в розничной продаже: 5 н. м. — или эквивалент 5 н. м. — для Европы и неевропейских стран; для США и Канады 2 ам. дол.; для Австралии 1.60 ав. дол.

VERLAG — POSSEV — REDAKTION

D - 6230 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15

Telefon: 34 12 65. Postscheckkonto 33461 Frankfurt/M.

Bank: Nassauische Sparkasse 161 001 163 Frankfurt/M.

Telegramme: Posseverlag Frankfurtmain

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXIX

№ 94

1974 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ВЛ. КОРНИЛОВ — «Девочки и дамочки». Повесть 3
- ВАСИЛИЙ БЕТАКИ — Памяти Чехословакии. Зеленый луч.
«Где-то там — ночная питерская тишь...». Мы —
из Китежа. Стихи 141
- ВАЛЕРИЙ ЛЕВЯТОВ — Пьяницы. Рассказ 149

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

- ЮРИЙ ГАЛАНСКОВ — Письма родным и друзьям 167

ПУБЛИЦИСТИКА

- ИГУМЕН ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) — Историчесофские
узоры 208

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ВЕРА КАРПОВИЧ — Исследование новообразований и да-
левских слов у Солженицына 236
- Коротко о книгах и журналах 267
- Список книг, поступивших в редакцию 270

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи
редакцией не возвращаются.*

© 1974 by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»

«Девочки и дамочки»

Повесть

1

Шанцевый инструмент привезли перед самым рас-светом. Три грузовика, шурша по шлаку, вползли на станционный двор, и худой военный со шпалой в петлице, устало поёживаясь, вылез на подножку первой полуторки.

— Откиньте борта, — махнул он красноармейцам, сгорбившимся в кузовах машин.

И тут из барakov посыпались женщины.

— Айда, девчонки! — орали на бегу.

— Давай, куры! Лопат не хватит!

— Кончай ночевать! — разносилось по двору.

Полуторки сразу облепило, как автолавки с ману-фактурой.

— Вот чудачки... — хотел засмеяться военный, но смеха не получилось: стучали зубы. За ночь он продрог, и простреленное тело не удерживало тепла от выпитого второпях портвейна. Капитан еще не прилег, а рейсов ему в этот день оставалось на добрую неделю.

— Женщины! — снова попробовал он засмеяться.
— Подвиньтесь инструмент распределить!

Эта повесть Вл. Корнилова была принята редакцией жур-нала «Новый мир» к публикации, набрана, свёрстана, а затем снята по причине «неправильного» изображения периода Оте-чественной войны 1941 - 1945 гг. — Ред.

Но голос потонул в море хохота, гогота, в криках «валяй», «айда», «бегом» — и капитан, испытывая неловкость и одновременно жалость к зазря проснувшимся женщинам и девчонкам, полез на крышу кабины.

— Тихо, тихо. Соблюдайте сознательность. Разойдитесь, — набрав сколько мог в легкие воздуха, крикнул он сверху, но станционный двор гудел, как лет тридцать назад во время забастовки. И женщины всё сыпались из барачных.

Это была железнодорожная окраина Москвы, однажды и навеки окрещенная «пересылкой». Круглый год она, как добрый десяток ее сестер, отправляла граждан, завербованных и набранных всяким путем — на разные, всё больше северные и сибирские, стройки. Осенью отсюда уходила на действительную стриженная ребятня. А с этого лета пересылка уже трудилась для фронта. Сейчас, октябрьским знобким предрассветом, её забили, лёжа вповал, мобилизованные на окопы москвичи.

— Лопаты... Лопаты привезли! — запричитали в бараке, где спала Ганя. Тотчас захлопали двери. По доскам пола, отдавая в Ганино ухо, застучали башмаки, зашлёпали ботинки и галоши. Из щелястых окон потянуло острым сквозняком, и Ганя проснулась.

— Да ну их, поспим лучше, — ворчали некоторые, переваливаясь на другой бок и натягивая на голову кто мешок, кто полушалок. — Тоже добро, лопаты!

— Лежи, тётка, — промычала толстая деваха, о которую Ганя грелась ночью. — Холодно... — и тотчас уснула. Её рыжая тощая подружка, что грела Ганю с другого бока, вовсе не просыпалась.

«Сознательные!» — сердито подумала Ганя. С недосыпу она злилась на весь свет и особенно на этих двух, толстуху и рыжую.

Вчера днем, когда Ганя обозвала хозяйку «эксплуататоршей» и швырнула ей в лицо «хлебные картинки», эти две её и подцепили. Ганя, зарёванная, выбежала в

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

колодец двора, а там уже стояли женщины с рюкзаками, кошёлками, ведрами и эти две девки из квартиры напротив.

— Не плачь, тётка, — сказала вчера Санька-толстуха, подходя к Гане и вроде жалея её.

— С нами пойдемте, — улыбнулась рыжая Лийка («У, ведьма!» — нарочно толкнула её сейчас Ганя. Лийка спала, как пьяная).

— У нас весело, — неуверенно сказала вчера эта самая «ведьма», и мягкая от слёз Ганя стала в их строй, а потом одна женщина по имени Марья Ивановна, кажись, уполномоченная — собой чистый грузчик! — сказала:

— Смирна! Равняйся! Ша-гом... — и повела их на Ногина, а оттуда вверх к Ильинским, и сама же первая начала:

А ну-ка, девушки,

А ну, красавицы...

И Ганя пошла между толстухой и тощенькой и, размазывая по морщинистому неумытому лицу слёзы, подтянула:

Пускай поет про нас страна,

И звонкой песнею пускай прославятся...

Потом, когда дошли до Турецкого памятника, гора кончилась, идти стало легче, и запели другую, развесёлую, из кино, какое бесплатно крутили на май в агитпункте:

Нам нет преград

На море и на суше,

Нам не страшны

Ни льды, ни облака...

И Ганя совсем отошла, маршировала довольная, голосила со всеми и в мыслях еще успевала унижать хозяйку:

«Ты, эксплуататорша, драпаешь, а я иду и пою. Я пролетарка, а ты, сивая кобыла, сдохнешь на дороге. А ну, а ну, достань воробышка! (Хозяйка была высокого роста.) Вот тебе, а не воробышка. Кончишься в вагоне. Ворону жрать будешь», — улыбалась Ганя, и её мягко подталкивали с обеих сторон рыжая и толстуха:

— Молодец, тётя! Видишь, как здорово...

Так вчера прошли через центр сюда на станцию. Тут Ганю записали вместе со всеми в толстую школьную тетрадь, и всё было в полном аккурате: повели в столовку, дали горячего ужина по армейской норме — кашу с мясом и чай в кружке с двумя камушками рафинада («граммов сорок» — прикидывали женщины). Кружки и миски выдавали через окна в перегородке, а в другие сдавали грязные, и Ганя, может, впервые в жизни, поев, посуду за собой не мыла и, гордая, легла посреди барака между двух новых подруг. От толстой было тепло, а рыжая прижималась доверчиво, — прямо кошка! — и Ганя засыпала счастливой.

«Ехай, ахай... — грозилась она хозяйке. — Колбасой катись. У, верста — сивая красота!..» — с удовольствием вспоминала, что у хозяйки в русой косе много седых ниток.

И сон пришел к Гане хороший, с кавказскими горами, какие видела в двадцать втором году в Ессентуках. Снилось, что едет она со своим чернявым хахалем Серёгой, Сергей Ерёмичем, на линейке, а у лошади в гриве бумажные ленты, будто вправду свадьба. А потом они задаром пьют лечебную воду гранеными стаканами. Сергей Ерёмич лениво и великодушно гладит Ганю и сердится на её сестру — малолетку Кланьку-разлучницу, которую Ганя по дурости взяла с собой. От больших рук Сергей Ерёмича Гане тепло, только ноги немного мёрзнут и в животе нехорошо, наверно, от воды.

И вот теперь ночная побудка вернула Ганю в мёрзлый барак. Ганя больно потянула шею, дернулась и очнулась на грязном полу, который больно стучал в ухо.

— Беги, тётка, — крикнул ей малец. (Среди женщин случайно затесался этот недомерок, не то доброволец, не то допризывник.) — А то лом тебе достанется...

Ганя испуганно отряхнулась и, подхватив кошёлку, поспешила к дверям. Хотя ей было под пятьдесят, ступала она вприпрыжку, как тощая клуша или плакса-девчонка, которая до смерти боится мальчишек и водится с одними малявками. Со спины Ганя была еще молодой, но лицо у неё сморщилось и одлинноносело. «Курица!» — не сговариваясь, обзывали её во всех домах, где пребывала проходящей прислугой.

«А вдруг — лом!.. Руки отвертит. Кирка половчей...» — решала на бегу.

На дворе было светлее, чем в бараке. Горело больше синего электричества, и от маневровых паровозов летели искры и пламя. Красноармейцы, стоя в кузовах, нерасторопно раздавали инструмент. Лопаты были смазаны чем-то липким. «Солидол», — слышалось в толпе.

«Разберут... — подумала Ганя и кинулась в толчею, гребя локтями, как в трамвае, когда просыпала остановку. — Хоть кирку! Лом рук не оставит!» Но те, кто вылез этой ночью из барачных, умели за себя постоять. Раза два Гане съездили по шее, разок сунули в ребро. И выдохнув:

— У, жилы! — она незаметно для себя перепорхнула от врагов справедливости и порядка к их вернейшим охранителям.

— Куды прешь? — уже через минуту орала на одну бойкую деваху в ватной фуфайке, которая надумала ухватиться за борт полуторки.

— Чего людям ноги давишь? — кричала на другую.

— А ну, паника, охолонь! — вразумляла еще кого-то.

— Вот все мы так... — вздыхала тут же для всеобщего сведения. — Всё возимся, всё носимся. А чего?.. Все там будем.

— Будем, будем, — смеялись вокруг. — Только рот, тётка, заткни.

— Лови, хохлатка, — заметил её с машины боец и протянул лопату. Ганя, неловко подпрыгнув, ухватилась за холодную железяку. Никто её не тронул. Вокруг машин как-то поредело. Оказалось, лопат хватило на всех. Даже остались лишние, и их вместе с остальным инструментом, откинув борта, сбросили в углу станции. Худой военный слез в кабину, и полуторки, развернувшись, выползли за ворота.

Светало медленно. Время было самое неловкое — ни спать, ни про жизнь переговариваться. Гане опять стало тоскливо. И еще от вчерашней каши жгло в животе.

— Печёнка, — покорно вздохнула она, стоя посреди опустевшего двора и упирая ногу в черном ботике о штык лопаты.

— Ты чего... картоху копать? — спросила, проходя мимо, какая-то женщина.

«Могилу», — хотела ответить Ганя, но не успела. Окопница вошла в барак.

«Чего забыла? На дармовщинку потянуло, а? — подумала Ганя с ехидцей, словно говорила не с собой, а с невидимой дурой-подругой, самой распоследней горемычкой. — Оно самое втридорога — бесплатное. Тьфу! На машинном готовят! — скривилась, отвечая своей боли в желудке. — Армейское!»

И вспомнились ей племяши близнята, ее любимцы, которых летом забрали в армию. Парни были рослые, красавцы, в зятя Сергей Ерёмыча. Наворачивали за обе щеки — и второе, и первое. Особо любили холодное мясо из супа. Ганя им в бидоне от хозяйки возила, и они ели ночью, после гулянок. Хозяйка супа не признавала. Может, этой, как её, подагры боялась. И хозяйкина доч-

ка — четырехглазенькая — тоже от Ганиной стряпни нос воротила. Так что Ганя варила суп справный, густой, а мясо из него, завернув в марлю, прятала на дно кошёлки. Уже потом, в поезде, запускала его в бидон, и оно плюхалось туда весело, как карась в реку. Сама она супу тоже не ела, а уважала сыр голландский, постную ветчину и какао, но не из сои — с той какая сытность, а настоящее, в железных коробках.

Светало медленно, неохотно, словно солнце задолжало, а отдавать ему было нечем. Так, бывало, в коммуналке соседи возвращали Ганиной хозяйке долги. Возьмут сотни полторы, а приносят по трешнице. Хозяйка, гордая, не скажет и напомнить не даст, и у Гани вся душа изводится от справедливости: кто чего не вернул, кто на кухне керосину взял или примус закоптил — не продует! — или общие дрова на ванную извёл: не в очередь мылся. Всё помнила Ганя и за хозяйское болела как за свое. Да оно и было свое. Чего сами не дарили, увозила Ганя без спросу. А хозяйка — когда заметит, когда нет. Да и заметит, сказать постесняется. Не боялась Ганя хозяйки. Та, как домой придет, сразу за свою печатную машинку и стрекочет, стрекочет, вроде пулеметчицы Анки из «Чапаева». Соседи говорят, до двух, до трех стучит. Ганя сама никогда у них не ночует. Не лакейка. Хоть и без договора, а приходит, как на производство, — и каждый выходной зарплата. Но соседки возмущались, ходили даже в квартиру напротив — к управдому, и пришлось хозяйке обиться дермантином и ватой внутри и снаружи. Дверь сто пудов стала весить. Ганя в сердцах ее футболил, когда с чайником или сковородой из кухни торопится.

Нет, служба у хозяйки ничего, подходящая. И Ганя на ней сама себе командующий. А если хозяйке вожжа под хвост западет и придумает Елена Федотовна:

— Хорошо бы, Ганя, простыни постирать. Давно не меняли, — Ганя за тазом не побежит, а станет посреди

комнаты (а лучше — кухни: при соседках удобней!), подопрёт кулаком щеку и тоскливо рассудит:

— Да когда ж нам стирать? Так ведь сейчас не постираешь как следует. Вот уж к празднику, Елена Федотовна, и будем... — И заткнётся хозяйка, съест и опять начнет тарахтеть на своей машинке, как в магазине на кассе. Да и вправду — кассе. С нее главный доход. А днем она в школе — что? Учительша...

Нет, ничего, если бы не война. Война всё перекрутила. Только еще первые налеты пошли, стала привязываться хозяйка:

— Поезжайте с Кариночкой в Куйбышев. Я вам деньги высылать буду.

— Вы что, Елена Федотовна? Куда я от хозяйства поеду?

— Да какое хозяйство?! — рассердилась та. Раньше смиренная была, голос прятала, по квартире ходила — сжималась, хоть сама под потолок. А тут вдруг насмехаться позволила:

— Полсарая со скворешней — хозяйство...

— Какое ни есть, — гордо отрезала Ганя. — Не вы наживали. У вас вон тарахтелка одна, и ту на неделе мастер два раза ковыряет.

Нет, если б не война, жить можно. А тут — племяшей сразу в армию, а Кланьку, сестру, — так ей и надо разлучнице! — в больницу положили. Помрёт, видно. Кровь в ней, как вода. А в больнице кормёжка какая-никакая, передачу всё равно вози. И ещё: карточки, как раньше, выдумали. Всем дали, а Гане — нет: не рабочая, мол, не иждивенка. Договору, видишь, нет. Неделю бегала за справками — с Москвы на Икшу, с Икши сюда, а потом плюнула и рукой махнула. Перебивалась при Елене Федотовне. Та с Ринкой всего не съедала. И тут вчера хозяйка вдруг эвакуацию надумала. Сама теперь едет, а Ганю не зовет.

— Стирайте, — говорит, — на дорогу!

— Вот тебе, а не «стирайте»! Не лакейка! — И кинула Ганя вчера хозяйке деньги — мелочи больше было, а карточки — те смяла в кулаке и комом в лицо.

Теперь, на станционном дворе, как баба-яга на клюку припадая на лопату, Ганя глядела в землю и видела свою жизнь, такую же смёрзлую, продутую. Ничего в ней не было, кроме Ессентуков, да и те чем окончились.

Ничего стоящего не было в Ганиной жизни. А теперь без хозяйки и вовсе клин.

2

Утром, еще затемно, давали в окошки горох с мясом. Ганя ковырять его не стала. Пила только чай вприкуску. А рыженькая горох ела, но Ганя заметила, что давилась без аппетита — больше от сознательности, чтоб не выделяться. А толстуха — раз-раз — обстругала миску.

— Добавка полагается? — гаркнула весело на весь длинный стол и еще на два соседних.

— Как же! Чтоб громче стреляла! — подхватили женщины.

— Тебе, девка, мужика надо, а не гороха. Растряс бы, а то лопнешь!

— Ха-х, — залилась Санька. Она не обижалась. Серым мёрзлым утром перед неясной дорогой посмеяться было самое время. Ганя тоже собралась вставить слово, но рыжая ее опередила:

— Ты, Санюра, у тётки Гани возьми. Она не ест.

— Правда, тётка, не хочешь? — спросила Санька.
— Тогда давай. Зябко — вот и естся, — и она потянулась к Ганиной миске.

— Тпру-тпру, — зашипела Ганя. — Ты кувалды не тяни. Не твое. А ты не зырь, — напустилась на рыжую. — А то глаза завидки, всё зырют, где чего хватануть... Знаю ваших.

— Дрянть ты, тётка, — злобно звякнула черенком ложки ладная Санюра — мешала в кружке сахар.

Рыженькая покраснела, но смолчала. Она дала себе слово быть, как все, не выделяться и прятать любую обиду. Она уже три года решила быть, как все, и даже, если это возможно, лучше. Она старалась изо всех своих тощих сил не краснеть. Но тут ее воли не хватило. Ужасные пятна покрывали лицо.

Со всем смирилась комсомолка Лия. Сначала было две комнаты, здоровая мать, домработница, распределитель отца. Отец вечером возвращался домой на машине веселый, в мягких шевровых сапогах, в зауженных синих галифе и такой же гимнастерке с широким ремнем. Он кивал матери и целовал Лию. Он был полноват, но строен и величествен. К нему, директору завода, удивительно шло полувоенное...

И вдруг — одно за другим: мать заболела, отца сняли с работы и отобрали одну комнату. (Туда въехала толстая Санюра с отцом — выпивохой и неуживчивой, шумной дворничихой — матерью. Домработницу пришлось отпустить, потому что самим стало туго. Что могли, уже снесли в комиссионный, а остальное Лия с Санюрой (которая оказалась удивительно отзывчивым человеком) в выходные дни возили на толкучий. Мать, после того, как упала в туалете в обморок, уже не поднималась, и за ней надо было ходить, как за грудным ребенком. И отец всё чаще издевался над матерью и обзывал нехорошими выражениями. Он абсолютно не умел ухаживать за больными. У него совсем сдали нервы. Он не приучился сидеть без дела. Он был рожден командиром производства, красным директором. А тут, сидя взаперти, он как-то сразу стал жалким, склочным, недобрым человеком. Ужасно озлобился на соседей за то, что они отняли кабинет. Но при встрече с Санюринным отцом, пьяницей-управдомом, первым здоровался и еще угощал «Пальмирой». А потом жаловался, что тот вечно стреляет у него курево. «Никаких денег не хва-

тит!» — и поэтому курил при больной. А мать не позволяла открывать форточку. Она температурила. У неё всегда было не в порядке с вегетативной системой. Она росла в культурной семье и, как говорили родичи, была очень музыкальна. И раньше у неё шалили нервы, случались даже припадки, но тогда они перепадали домработницам, а теперь целиком доставались отцу. А он курил при больной. Лия ничего не могла с ним поделать. Папиросы были очень дорогими, мать совсем плоха, а отец до того жалок и обидчив, что вскипал от каждого незначительного намека. Он не сразу похудел, но как-то посерел, обмяк. Носить полувоенное ему теперь было стыдно, а беспартийная, времен нэпа тройка была так тесна и так старомодна, что отец выглядел в ней подозрительно. Он и вправду ждал серьезных неприятностей все полтора года, пока умирала мать. Уже доказалось до Лиинной школы, что он снят с работы, и кое-кто из ребят предлагал разобрать Лию на бюро. Но она, не дожидаясь конца четверти, поступила в библиотеку, где работали одни опрятные старушечки и не было комсомольского учёта. Все эти полтора года отец был совершенно невыносим. Но Лия его любила. Она гордилась им и жалела его. Она знала, что он ни в чем не виноват, что он талантливый — просто природный! — руководитель. Самородок. Ему просто завидует сын какого-нибудь недобитого врага или сам враг. Он ненавидит отца, потому что отец — талант! И советская власть защитит отца. Отец подал в комиссию МК, и в комиссию ЦК, и в партконтроль. И написал лично товарищу Сталину.

Она сама просила его писать, сама правила ошибки и сама относилась письма. Он держался только её уверенностью. Недаром она была его дочь, она была вся в него, а эти полтора года была даже сильнее его.

— Ты жди, — твердила она, садясь перед сном на край отцовского дивана. — Сейчас очень трудно дове-

рять. Много вредительства. Ты же знаешь... Но тебя обязательно разберут. Надо только немного подождать.

И потом вставала с дивана, стелила себе на полу, шла в другой угол комнаты, к матери, меняла ей рубашку, поила ее и ставила градусник, а потом показывала другой, на котором температура никогда не подымалась выше тридцати семи и двух.

— С папой будет всё хорошо, — успокаивала её Лия.

Так было целых полтора года, пока умирала мать. А потом наступила справедливость. Отца восстановили и назначили главным инженером уральского стройтреста. Он снова надел галифе и гимнастерку, которые теперь были ему велики, и, не дожидаясь материнской смерти, уехал в Челябинск. А мать ложиться в больницу ни за что не хотела. Лия работала посменно, и часто за мамой приглядывала Санюра.

Словом, свыклась, стерпелась со всем комсомолка Лия — с незаконченной десятилеткой, с материнским нытьем, тяжким духом в комнате, отцовской нервозностью, а потом с отъездом отца и материнской смертью.

Только краснеть не разучилась.

— Плюнь, — обняла ее толстая Санюра. — А ты давясь, — рывкнула через стол на Ганю. — Мне не надо. Я сытая.

И тогда захныкала Ганя, дергая длинным носом.

— Тебя не поймешь, — сказала женщина рядом.

— На нашу сестру нету профессора, — вздохнула вторая.

— Да, бабья душа, как аптека! Без чекушки не разберешься! — добавила третья, и разговор чуть не ушел в сторону, пока Ганя шмыгала носом и пускала слезы по желобкам морщин.

— Фью-ить-ить-уить... Да ведь мне не жалко, — вытолкнула Ганя наконец через глотку. Раньше почему-то слова попадали в длинный, забитый полипами нос. — Ешь, Санька. Мне такого и нельзя. Печень... — объ-

яснила она, как бы доверяя себя всем и подымая всех до себя. — Малая была, ох наворачивала! А теперь — печень. Рак в ней или жаба. Кто знает?.. Врачи слепенькие... Мне бы вот сырку... А ты — курочь, — она крутнула миску через стол к Саньке. — И ты, Лийка, не стесняйся. Хоть давься, а принимай. Завтра и того не дадут.

— Не каркай, ворона! — цыкнули рядом.

— Пораженка!

— Кура!

— Кончай питание! — крикнула огромная Марья Ивановна, которая привела сюда команду, где были Лийка и Санька, и которую Ганя считала уполномоченной. — Вагоны сейчас подадут!

Опять началась толкотня, как ночью, когда был шанцевый инструмент. Ганя понеслась в барак, схватила кошёлку с лопатой и, не зная чего делать дальше, на всякий случай опустилась на пол.

Другие женщины тоже хватали сумки, мешки, лопаты, вёдра и потом нерешительно топтались на месте.

— Ну, не загорайте! Выходите строиться! — командовал из дверей тот самый военный, что ночью приезжал на грузовиках.

На дворе совсем посветлело, но небо было серым от туч.

— Хоть самолётов не будет, — переговаривались женщины, позёвывая от холода.

— Стан-но-вись! — закричал военный. Он опять неловко взобрался на крышу кабины. Вместо трех ночных полуторок теперь на станционном дворе стояла только одна. «И чего его ездит?» — подумала Ганя.

— Рукавицы привез! — как будто услышав ее, объяснил оказавшийся неподалеку допризывник-недоме-рок.

— Для иждивенцев, — засмеялись вокруг.

— Раз-говорчики! Становись! Равняй-сь! — командовал военный. Строились неумело.

— Старшим команд навести порядок! — кричал худой капитан. — Ну, ну, подравняйся! Сми-ирно! А, Бог с вами. Стойте хоть так... — махнул он рукавом шинели. — Тихо!.. Слушайте меня. — Он прибавил голосу. — Товарищи женщины! Положение очень тяжелое. Враг рвется в самое сердце нашего государства.

Он хотел сказать им что-то необыкновенно душевное и доброе, потому что очень жалел их, измученных, кроме нелегкой жизни, еще вот этой полубессонной ночью в холодном станционном бараке. Ему хотелось, если и не подбодрить, то хотя бы сказать им что-нибудь шутливое. Но как только он взобрался на крышу кабины, ему почему-то вспомнилась частушка из фашистской листовки, прочитанной вчера на инструктаже:

Девочки и дамочки,
Не ройте ваши ямочки,
Проедут наши таночки,
Зароют ваши ямочки.

Вчера, в первую минуту, частушка показалась ему вполне складной. И человек двенадцать командиров, сидевших в тесной комнатёнке у штатского Тожанова, тоже удивленно переглянулись.

Но сегодня, когда перед ним стояли свои, родные дамочки и девчонки, которых посылали туда, вперед, за Москву, поближе к хорошо знакомым ему танкам, капитану стало не по себе, и он оборвал речь.

— В общем, разобрать кирки-ломы. Старшим разбить людей по десять. Каждые десять — отделение. Ясно-понятно?

— Ясна, — нестройно ответили в рядах.

— Не распускать строй! Скоро вас проверю, — не то грозясь, не то печалась, добавил капитан и слез с крыши. — Давай, — сказал водителю, пристраиваясь рядом, и грузовик выполз за ворота.

— Стой на местах! — закричали старшие команд. — На десять рассчитайся!

— Быстрей, — цыкнула на своих Марья Ивановна. — Немцев приманите.

— Не прилетит. Тучи! — засмеялся недомерок в Ганином ряду. Теперь, при свете, Ганя даже удивилась, как она его раньше не узнала. Это был Гошка из Ринкиного класса, друг-приятель чуды-природы.

— Считайсь! — приказала Марья Ивановна.

Рыжая и толстуха вошли восьмой и девятой, а Ганя — десятой, последней. Еще чуть — и была бы с чужими. «Всё же есть Бог», — подумала, смиряясь и успокаиваясь.

— Ну, ты тут самая просторная, — сказала Марья Ивановна Саньке. — Будешь за отделенную. Держи их — во! — Она сжала культистые пальцы в приличный кулак. — Получишь десять рукавиц и гляди, чтоб кирки и ломы прихватили. А то иждивенцев — одни лопаты хватать — много. Ясно-понятно?!

— Ясно! — весело откликнулась Санька и уточкой притянула ладонь к платку.

3

Не платформа и не теплушка, а достался им нормальный вагон с двумя полками и третьей для вещей. Ганя догадалась, где стать, и когда подходил состав, первой уцепилась за поручень, вскочила внутрь и одно место у окна взяла себе, а другое — напротив — придержала для Марьи Ивановны.

— Э, — махнула та рукой, — некогда мне расслаживаться!

И как в воду глядела. Тотчас загудело, завизжало — у-у-у! — на весь город и еще, наверно, на область.

— Граждане, воздушная тревога! — передразнивая Левитана, забасила какая-то деваха из соседнего отсека.

«Вот тебе и тучи», — подумала Ганя и глянула в окно, но ничего не увидела. Впритык стоял товарный.

Вообще-то с июля женщины успели попривыкнуть к тревогам. Москву хоть и бомбили, но была она уж очень велика. К тому ж из метро или убежища, как падают бомбы, не видно. А ездить глядеть, где чего разрушено, не у каждой есть охота или лишнее время. Зато сбитый немецкий самолет поставили в самом центре, на площади Революции, и его видели все. Поэтому в октябре уже такого страха перед налётами не было. Но сейчас, вырванные из семей, закрытые в вагоне, занявшие две полки и даже третью для узлов и чемоданов, окопницы почувствовали себя неловко и неуютно. Теснота сжимала не только бока и рёбра, но и самую душу, а сверху выло, выло, и хоть взрывов еще не было, даже зениток не было слышно, всё равно казалось, упадет сюда, в вагон, в это купе, в спину, в шею.

— У-у-у-у! — ревело над Москвой, а казалось, над самой крышей, и тем, кто пристроился на третью, хотели хоть на вторую полку, а вторые — на первую, а первым казалось: взорвет путь и ударит снизу — и им хотелось броситься и выскочить на станционную платформу.

— Без паники! — крикнула от дверей Марья Ивановна, хотя паники не было. Женщины сидели, тесно прижавшись друг к другу.

— Трогай скорей! — закричала она вниз на платформу, видимо, кому-то из поездной бригады.

— По местам! Без паники! — снова крикнула вглубь оцепеневшего вагона и на всякий случай сложила вдвое широкий армейский ремень, который стягивал ее зеленую длинную стёганку.

— У неё под клифтом есть наган, — пропел допризывник Гошка. Он сидел рядом с Ганей, во рту у него дымилась папироска.

«И вправду с наганом вернее, — подумала Марья Ивановна. — Ответственность, а нагана не дали. С оружием уважения больше...»

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— Дай прикурить! — крикнула она Гошке. — А сам загаси. Мал еще.

— Правильно, — подлаживаясь к начальству, вязалась Ганя. — Погаси. Духота. Тебе не положено. Армейцем станешь, тогда и кури, пока не убьют.

— Чего к человеку пристали? — сказала Санька. — Иди сюда. — Она отодвинулась от окна и пустила Гошку. — Раму только оттяни. Вот так. Как раз будет.

Ну-ка, чайка, отвечай-ка,
Любишь или нет? —

нестройно донеслось с открытой прицепленной к вагону платформы.

Ты слети-ка, принеси-ка
Милому привет, —

взвился слабый голос в соседнем отсеке, но, не подержанный, тут же захлебнулся.

— Дует, — заныла Ганя. — А ты не приманивай. Я тебя пустила временно. Это вон их место, — она почтительно повернулась к Марье Ивановне, которая с поясом, как казак с нагайкой, закрывала собой выход.

— Заткнись, тетка, а то, честное слово, врежу, — зевнула толстая Санька. — Двигались бы, что ли. Может, закуришь, подруга? — ласково обняла она Лию. Та, мотнув головой, прижалась к ней. И тут поезд тронулся.

— Господи, пронесло бы, — кто вздохнул, кто перекрестился на верхних полках.

— Фу ты, — успокоилась Марья Ивановна и, застегнув ремень, села на край лавки.

Поезд набирал скорость. Сверху выло. Уже стреляли зенитки и вроде где-то ухали взрывы, но на ходу, под ровный стук колес было не так тоскливо.

— Я вам у окна заняла, — снова улыбнулась Ганя начальству. — Встань, пусти людей, — сказала Гошке.

— Пусть. Тут не купленные, — отозвалась Марья Ивановна. — Может, и ему скоро ать-два. Стрелять умеешь?

Гошка кивнул, не вынимая папироски.

— Годишься. Напомни мне. Должны оружие выдать, — с важностью соврала Марья Ивановна. Хотя считалась она чем-то вроде уполномоченной и со всеми районным начальством была на ты и за руку, никто ей оружия не обещал, да и стрелять она не умела.

— И нам с Лийкой дадите, — сказала толстая Санюра. — Мы — ворошиловские.

— Ладно, поглядим. И тебе, хохлатка, тоже?

— На кой мне? — ответила Ганя. — Мне черпак дай. Я пищу варить могу.

— Редкая специальность, — засмеялась сидевшая рядом женщина. Поезд уже вымахнул за окраину, и в вагоне повеселело.

Любимый город может спать спокойно, —

запели на платформе.

— В столовке служишь? — поглядела на Ганю уполномоченная. — Я тебя чего-то в лицо не признаю. Еще записывала, хотела спросить. Ты с дробь...?

— Ага, с дробь, с дробь... с двадцать седьмой, — закивала Ганя, не упоминая про столовку.

— Так это ж напротив вашей, — вспоминала уполномоченная, кивая Лие и Санюре. — Так, значит, в прислугах? Непрописанная.

— Она приходящая, — тихо сказала Лия.

— А сама откуда?

— Загородная, загородная. Меня Рыжова, Елена Федотовна, просила... Мы с ней старые знакомые. Подруги... За Ринкой, дочкой, глядеть уговорила. Зренье у нее никуда...

— Это которая длинная? На машинке грохочет? Неясная семья.

— Чего ж неясного? — заступился Гошка. — Учительница и квалифицированная машинистка.

— Тебя не спросили. Значит, подруги, говоришь? — пустила Марья Ивановна дымком в Ганю. — Давно подруги?

— Давно, давно. У меня свое хозяйство. Но Ринку жалко. Она по часам кушать должна. Зренье ни в какую.

— А муж у Рыжовой где? — прищурилась уполномоченная и даже рот открыла от удовольствия, будто целилась и попала в самую серединку.

— Нету мужа, — удивилась Ганя. — Зачем ей муж? Она женщина серьезная. Мужиков не водит.

— А девку ветром задуло? — засмеялись на верхних полках.

— Вы чего? — задрала голову Ганя. — Людям поговорить дайте. — Нет у ней мужа, — повернулась к Марье Ивановне. — Был один армян... Мы с ней вместе на Кавказ ездили... Ну, был там грех, — стала складно, сама не зная зачем, врать Ганя. — Я ей говорила: «скоблись». А она испугалась, как сестра моя Кланька. Испугалась и родила...

— А-а, — зевнула уполномоченная. — А то было другое мнение. Хороший у вас дом. Чистый дом у вас. Не надо, чтоб в нем не наши люди квартировали. Когда твоя Рыжова менялась, я была «за», потому что выезжали эти, ну, как их... Бабка еще с детьми. А потом доводят мне, что и Рыжова... Врали, значит?

— Ага, ага, — радостно, к Гошкиному удовольствию, затряслась Ганя. — Нет, она женщина серьезная. Машинист.

«И чего меня понесло? — подумала про себя. — Вот и Елена Федотовна... Да я б к тебе сроду не пошла, когда б знала... Ничего, выведут тебя на чистую воду!»

Лия вся вжалась в стенку вагона, и в груди у неё всё замерло. «Бедная Елена Федотовна. Очень сердечная и интеллигентная женщина. И Рина, хотя еще де-

вочка и большой эгоист, уже тоже очень интересный человек».

«Дура-дурой, — думал допризывник Гошка, сидя напротив Гани. — Дура, а вывернулась... Что-то есть в слугах собачье... Нет, не собачье, а рабье. Захаробломовское. Господ костят, а другим костить не дают. А эта, — он поглядел на Марью Ивановну. — У, головастая, государственная баба!» И Гошка с неудовольствием вспомнил, как вчера она не дала ему отдельно идти по тротуару. Пришлось залезть в самую серединку колонны и давиться стыдом под бабье пенье. «Вот люди. Просился на фронт — сунули на траншеи. Ну, ничего... Там сбежать легче...» — повеселел он и осторожно прижался к Санюре.

— Так ты, выходит, прислуга? — зевнула уполномоченная. — А договора, небось, не оформляла?

— Не успела, — униженно кивнула Ганя.

— Она шпионка, — съязвил повеселевший Гошка. — Вы за ней в два глаза глядите.

Наверху опять засмеялись.

— Шпионка! Шиш тебе, а не шпионка, — завелась Ганя.

— Ладно, смейтесь без меня. Пойду проверю, как настроение. — Марья Ивановна пошла по вагону, и в первом отсеке сразу стало просторней.

— Сдвинься, Санька, — осклабилась Ганя. — А то вон парень как свекла стал. От тебя заходится.

— А чего? Пусть греется. Давай руку, Гошенька! — засмеялась толстуха и схватила Гошкину ладонь, будто действительно собиралась засунуть себе за телогрейку.

— Хха! — донеслось сверху.

— Хи, — фальшиво визгнула Лия.

— Пусти, — смутился Гошка, выдирая руку.

— Не стесняйся. Я добрая, — веселилась Санька. — Если замерзнешь, пожалуйста. Дело ведь житейское.

— Да ну тебя, — буркнул допризывник, не зная — то ли обижаться, то ли смеяться со всеми. Складная Санюра ему нравилась.

— Он к Ринке наметился, — сказала Ганя. — Ты для него велика.

Поезд меж тем совсем выскочил из Москвы. Сирен не было слышно, только дружно хлопали зенитки.

— Вот дают! — высунул голову допризывник.

— Да ну их! Насмотришься еще, — поёжилась Санька.

— Авиацией надо, — вздохнула женщина, крайняя на Ганиной скамье. — С земли стрелять — это как мертвому капلي...

— Капли! Ничего себе капли, — рассердился допризывник. — С одного осколка — нет самолета. Особенно, если в бензобак.

— Воробью в глаз, — ответил сверху голос поглуше. — Как в него попадешь? Он на месте не ждёт.

— Стреляют заградительным, — хрипло, будто ей сжали горло, объяснила Лия.

— А? Ну тогда другое дело, — отозвались сверху. — Заградительным я понимаю. У меня племяшка в зенитных. Приезжал на той неделе. Говорит, один снаряд по деньгам — пара хромовых сапог. Слышишь? Вот сколько «сорокоходов» в небо пустили?!

— А ты не жалея! Мы богатые, — сказала Санька и сунула под лавку ноги в мужских латаных башмаках. Все засмеялись.

— Война, — послышался серьезный голос из соседнего купе. — Победим, сочтемся.

— Люди всего дороже, — перебарывая застенчивость, не выдержала Лия. — Зенитные батареи охраняют Москву, нас с вами, она хотела добавить и «товарища Сталина», но постеснялась.

— Победим, сочтемся, — повторили в соседнем отсеке.

— Не, может, одну хромовую, — подумала вслух Ганя. — У меня два племяша, так сапог не дали, а только ботинки и бинты к ним толстые...

— На твоих и лаптей не жалко, — сказал Гошка.

— У, паразит! Стукни его, Санька! — обиделась Ганя. — Лаптей!.. Они не то, что ты. Они у меня боевые. Всех девок на Икше спортили.

— Вояки! — присвистнул допризывник.

— У немцев большая сила, — сказали с полки над Ганей. — Их сапогами не убьешь. Они с умом воюют.

— Чего мелешь? — отозвались с полки напротив.

— Ничего. Мелю, значит, знаю. А ты рта не затыкай. Сама видишь, куда едем...

— Куда? Куда... Военная тайна, куда...

— Тайна? Не в Берлин. Сто вёрст — не дальше.

— А вы вёрст не считайте, — сказала невидимая женщина из соседнего отсека. — Наполеон дальше заходил, а что получилось?

— Наполеон — пример не подходящий, — вытащил папиросу Гошка.

— Какой еще Наполеон?! — напустилась Санька. — В Москве войска — ой-ей-ей! Вся Горьковская дорога — одни красноармейцы и танки. И по Ярославке. А уж по Казанке — само собой бронепоезда.

— Точно, — согласился Гошка, хотя всё лето и осень не выезжал из города.

«Наверно, так, — подумала Лия. — Видимо, Санюра от кого-то слышала».

— Да, сила большая, — сказала всё та же серьезная и невидимая женщина из соседнего купе. — Всё для последнего, решительного сражения собирают, и тогда немцы покатятся.

— Правильно, а ты — вёрсты, — подняла голову Санька.

— Да я не про вёрсты, — ответили сверху. — Я про то, что немцы дурни. Их обмануть — раз плюнуть.

— Поплюйся, поплюйся, подруга. Христом-Богом прошу, — снова под общий смех задрала голову Санька.

— Да не в том дело, — повторил тот же голос. — Они дурни. Их обмануть легко. У нас беженцы два дня жили. Немцы, рассказывали, дураки. Обвести — ничего не стóбит. И украсть у них всегда украдешь.

— Так с чего бежали? — удивилась Ганя.

— Тебя спросить забыли! С чего?! С того, что советские. Кому охота под врагом жить. Это другое дело. А я о том, что немцы дурни. Их перехитрить можно. Паренёк у беженцев, сын. Так каску украл, наган или как там — винтовку короткую и еще две плитки шоколада. И ничего. Поверили, что не он. А дочка — такая из себя подходящая. Вон, как ты, — ткнула сверху рукой в Санюру, — офицер сильничать хотел, сказала, что болезнь у неё плохая, и не стал — поверил.

— Немцы — фашисты. Они оккупанты и звери, — повторили в соседнем отсеке.

— Вот я и говорю, — продолжала женщина с верхней полки. — Немца обдурить можно. Он только вперед глядит, а сбоку у него глаз нет, — одна уша, а они по-нашему не кумечут...

— Ну, и не бегли бы, — сказала Ганя.

— Ты пораженка, — разозлился Гошка. — С такими не победишь.

— Заткни хайлу, — отгрызнулась та.

— Вот как уловителями повела. У Рыжовых воровала, теперь у немцев надеешься.

— У, подлюка! — взвилась Ганя. — Да я тебе...

— Не волнуйся, тётка, — вмешалась Санька. — Немцам ты не нужная. Они чистых любят. А ты, верно, с прошлого года в баню не наведывалась?!

— А твой номер восемь. Ты мне спину не терла.

— Нет, — согласилась Санька. — Я в детсаду малолеток мою. А таких, как ты, в морге купают.

— Съела?! — захохотал допризывник.

«Как не стыдно, — подумала Лия. — Но ведь они все хорошие. В каждом что-то настоящее есть. Даже в тётке Гане. Как она вчера шла и пела. Даже в самых плохих есть мужество и самоотверженность. Надо только открыть, и открыть во всех одновременно. Тогда мы победим. И не надо ссориться. Нужны хорошие руководители. Эта Марья Ивановна — хорошая. Но она не может увлечь. Она для приказов. Надо душевную. Надо такую, как Санюра. Санюра — настоящий руководитель. Если б я умела так разговаривать с людьми. Но я не могу. Я некрасивая и неловкая. Меня слушать не будут».

— Не грусти, касатка, — сказали Гане сверху. — Вымоешься, бант повяжешь и неси поднос.

— Да чего вы на меня? Да что я? У меня племяши на фронте! — заплакала Ганя.

— Что за шум, а драки нет? — весело спросила Марья Ивановна, возвращаясь с инспекции. — А ну подвинься, — толкнула она Лию. — Хоть присяду, а то, может, не скоро придется.

4

Их высадили посреди поля, километра за три от разбитой станции.

— Давай, давай!

— Скорей, скорей! — нервничала на насыпи поездная бригада.

— Так неловко ведь, — оправдывались женщины.

— Ловко тебе! Вон станции, как нету!.. Прямыми попаданиями.

Бренчали вёдра, звенели, падая, лопаты, слышалось:

— Ой, ногу подвернула!

— Ой, мамочка — пятка!

— Ушибусь!

— Боль-на!

Особенно неловко было выбираться из товарняка.

— Раз! Раз! — кричали железнодорожники: машинист с кочегаром. — И живо, живо в поле. А то опять прилетит! — и опасно вскидывали головы в неясное сизое небо.

Было не очень ветрено, но как-то сиротливо. Окопницы пошли напрямик через неубранную картошку.

— Разберись по десяткам! — командовали старшие, но женщины шли кто как, потому что строем идти мешала ботва. Нога то попадала в мягкую оттаявшую землю, то скользила по клубням.

— Пропадает! — вздыхали жалостливые.

— Кланяйся да в подол! Потом напечём.

— Сладкая, небось, морозом прихватывало...

Многие всё равно нагибались, пытаясь на ходу подобрать вывороченные обувью картофелины.

—левой, левой! — орали поставленные старшими.
— Некогда.

— Все вскочь! Все вскочь! — сердилась Ганя, хотя картошку не так уж уважала. Просто с киркой и лопатой трудно было идти по неровному полю. И еще её заставляли в поезде.

«Грамотные, — сердилась она. — А как землю ковырять, так вся грамота в мозоль выйдет. Ладно, шагай, шагай», — и она топтала ботинками мёрзлую ботву.

Солнца не было. Только сквозь тучи просвечивало что-то светлое, словно выйти стеснялось или тоже побаивалось немецких самолетов. Впереди за полем белела церковь, и возле нее загибалась асфальтовая дорога. «Хорошо бы на церкви артиллерийский наблюдательный пункт... Можно с телефоном или даже с рацией. Вместо креста — антенна! Вот сила будет! — думал допризывник Гошка, шагая отдельно от женщин. — Первая — огонь! Вторая — огонь! — командовал он про себя, ковыряя полуботинками липкую землю. — Как займут красноармейцы окопы, останусь. — И он уже

видел выкопанные траншеи, колючую проволоку и танковые ежи на дороге, которая пока еще одинаково змеилась мимо сельского храма. Дальше, наверно, река, — думал Гошка. — Где-то читал, что церкви всегда над рекой ставили. Они, дураки-религиозники, умели выбирать место. На реке хорошо оборону держать. Я там и останусь. Каринка ведь всё равно уехала...» И он вспомнил, как он с Кариной лезли на крышу тушить зажигалки. Но им не везло. В их дом ничего не падало. Но всё равно Каринкина мать закатила ему форменную истерику. Белая, валерианку пила, а потом, когда успокоилась, извинилась: «Поймите, Гоша. Ведь Карина у меня одна. Ведь у меня, вы знаете, больше никого нет». И он обещал больше не брать Ринку на крышу, даже на другой вечер пошел с ней в бомбоубежище. «Елена Федотовна еще ничего, — думал он. — А Каринка, честно говоря, замечательная. Эта близорукость у неё пройдет. Очки ей надо носить, просто чтоб зрение укрепилось. Но она, чудачка, читает лёжа...»

Лия еле плелась в своих желтых, шнурованных, высоких, до колена ботинках, неся на лопате ведро с кошёлкой. Каблуки то и дело застревали в вязкой почве. Она уже устала их выдирать. Эти материнские ботинки раздражали ужасно. Лучше бы их продали тогда на толкучке. Но мама упиралась, требовала дешево не отдавать. Всё надеялась, что вернется настоящая мода, и она сама их наденет, когда перестанут опухать ноги. Мама была бесконечно упрямой. И теперь Лия сердилась на Санюру, что та посоветовала ей влезть в эти чудовищные сапоги. «Да я б сама с радостью, когда б вместилась!» — уверяла ее вчера Санька.

Лия брела через вязкое поле, а видела перед собой Центральный парк в последний предвоенный воскресный вечер. Санюра просто силой потащила ее туда. Она уже спала в Лиинной комнате (мама полгода как умерла), перетаскала на мамину кровать свою постель и даже повесила в Лиин шкаф сарафан и два платья.

— Пойдем да пойдем! — приставал к ней Санюра. Лия даже не переоделась. Да и не во что было. (Деньги, которые стал присылать отец, тратить на тряпки Лия жалела. Клала на сберкнижку. Рассчитывала: сдам экстерном школу, поступлю в институт — пригодятся. Теперь до конца войны будут в сберкассе.) Словом, пошла в парк только из-за Санюры, потому что девушке одной ходить в парк неудобно. Санюра, хоть была годом моложе, уже очень томила без молодых людей. А тут еще такой случай: комната свободная. «Из-за комнаты она меня позвала, — подумала Лия, глядя в спину весело шагавшей по картофельному полю Саньке. — Что ж, она видная, бойкая!»

«Нас не трогай, мы не тронем», — улыбнулась против своей воли Лия, вспомнив, как в этот вечер в парке Санька отваживала этим припевом нестоящих по её мнению кавалеров. Некоторые мальчики были даже очень ничего, но Санюра только отмахивалась. Она говорила им очевидные глупости, а получалось смешно и к месту. Ее шести классов вполне хватало на то, чтобы не уронить себя, а Лиины без одной четверти девять слова выдать не могли.

После недолгого дождя ходить по рыжим дорожкам было даже приятно, но Санюра всё дергала Лию, тащила то к эстраде, вокруг которой все в один голос пели как маленькие, то на пятачок, где фокстротили, — словом, к людям и яркому электричеству, где заметней были прохуdivшиеся Лиины теннисные туфли и тощие незагорелые веснушчатые руки.

Мальчики тоже ходили по двое, по трое. Так им было удобней знакомиться: один ухарствовал перед другим. Но, увидев Лию, все они — так ей казалось — тотчас скисали, на третьем слове подымали ладошку и похлопывали воздух:

— Ауфидерзеен! — или еще как-нибудь.

— Я пойду, — канючила Лия. — Я тебе только всё порчу.

— Ничего, ничего. Другие будут, — обнимала ее Санюра и похоже — не бодрилась, а совершенно была уверена. И действительно нашла, чего хотела.

— Вон гляди, — толкнула Лию в бок. — Годятся? Тебе какого — Крючкова или Абрикосова?

Вдоль пруда лениво шли два парня — один кряжистый с русым чубом, другой темноватый, высокий. Этим, собственно, и кончалось сходство с киноартистами.

— Шутишь! — сжалась Лия. «Это не для тебя!» — хотела сказать, но сдержалась. Нет, это, конечно, были мальчишки даже не для Санюры. У них были удивительно приятные и культурные лица. Это сразу бросалось в глаза. Светловолосый напоминал физкультурника с плаката, а шатен явно был студентом. У него в глазах была какая-то отрешённая грусть, словно он знал о жизни больше других и даже как бы отстранялся от нее. И одеты они были уж слишком прилично — оба в хорошо отутюженных брюках, в шелкового полотна рубашках и на ногах у них были не сандалии, а настоящие туфли: у блондина — белые парусиновые, у высокого — темнокоричневые, кожаные.

— Не надо, Санюра, — схватила ее за руку Лия.

— Да не робей ты, — отмахнулась та. — Главное, виду не подавай, что тушуешься. — Не москвичи мы, что ли?

Ребята как раз остановились у тележки с газированной водой.

— Ну как, студенты, аш-два-о? Подходяще? — спросила Санюра покровительственно и небрежно, словно это были не молодые люди, а ее детсадовские крохотули. Господи, у Лии щеки, наверно, стали рыжей дорожки. Хорошо, что было не очень светло.

— Стесняется, — похлопав по плечу Лию, улыбнулась Санюра. — Пить хочется, а фигуру бережет. Больше стакана в день ей нельзя. Вот и смотрим, где вода лучше.

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— Напой их, Витька, и пошли, — буркнул физкультурник. — Это не Рио-де-Жанейро.

Он отошел от тележки.

— Чего? Чего? Крем-брюле не советуете? — зашебетала Санька.

— Глупая, тебя оскорбили, — готова была заплакать Лия.

— Торопятся, — засмеялась Санюра. — Студенты, они от питания легкие...

— Глупая, тебя презирают, — горлом выдохнула Лия.

— Да не шипи, как змея...

— Извините, он не в настроении, — сказал темно-волосый. — Жорка, иди сюда! — Физкультурник не вернулся.

«Если бы не я, Виктор бы тоже ушел», — думала Лия, ковыляя по вязковатому полю и цепляя шнурованными сапогами мокрую ботву.

Женщины шли, устало растянувшись от насыпи до шоссе. Помахивая на лопатах кошёлками, позвякивая ведрами.

— На церковь держи, антирелигиозницы! — кричала Марья Ивановна, уполномоченная.

«Всё-таки я ему духовно была ближе, но Санюра больше женщина. — думала Лия, любясь, сама того не желая, ладной Санькой, которая в короткой поверх лыжных брюк юбке и телогрейке лихо топтала отцовскими башмаками неубранную картошку. — словно по парку гуляет. Даже лом и лопата не заметны. Нет, человек очень загадочное существо».

— Так что милости просим. Вот телефончик. Мы одни живем, — сказала Санюра Виктору, когда он довел их до метро «Парк культуры». Целых два часа они бродили вдвоем по аллеям, причем Санька сразу взяла студента под руку, а Лие пришлось идти с Санюриной стороны, и разговаривать с молодым человеком

было очень неудобно. Да и Санька больше двух слов сказать не давала.

— Да бросьте о серьезном. Литература, литература! Сохнут от нее. Или без глаз ходят, как соседка наша Ринка. Замерзнешь тут с вами, — нарочно зевала она. Лиля мешалась и краснела и всё порывалась оставить их одних, но Санька не пускала ее, тоже держа под руку. Прямо висла на них, веселая и разухабистая, хитрая и зоркая, такая, что зря не обидит, но своего никак не отдаст. А студент (Лиля уже разглядела, что он не только грустный, но еще и застенчивый) никак не догадывался их расцепить.

— Так что звоните, миленький, — сказала у метро Санюра голосом, полным ясного обещания, и только что не поцеловала молодого человека.

— Ну, ты подруга — первый сорт! — обняла она на эскалаторе Лилю. — Без тебя бы враз упустила! Молодец, что при книжках служишь. Принесла бы когда-нибудь и мне чего поглядеть...

Меж тем самые расторопные женщины уже добрались до церкви. Почти все они тащили ведра, и Ганя, запыхавшись, не отпускала их от себя, догадываясь, что они и будут поварихами.

— Давайте, давайте сюда! — кричал худой военный, заворачивая рукой на распахнутые двери храма. За спиной капитана темнел полутонированный грузовик «ГАЗ-АА».

«Вот оборотень! — подумала Ганя. — Как краснофлотец: нынче здесь, завтра там. И старика какого-то поймал».

Рядом с худым капитаном крутился очкастый старичок в длинном брезентовом плаще, какие носят конвоиры или заготовители, и что-то доказывая, размахивал руками.

— Я представляю себе, товарищ командир, на церкви наблюдательный пункт, — восторгался старичок. — Обзор исключительный!

Капитан не отвечал. Его занимало другое.

— А по берегу мы всё перероем. Мосты, гужевой и железнодорожный, видимо, придется взорвать. А на шоссе поставим ежи. Рельсы автогеном нарежем и сварим.

— Только, пожалуйста, без самодеятельности. Нагледелся сегодня, — процедил капитан.

— Нет. Мы узкоколейку на это дело пустим. Тут неподалеку ржавеет без надобности.

— Ну, узкоколейку. Валяйте, — согласился капитан. — Только чтоб без самодеятельности. Вы что — в гражданской участвовали? — спросил скорее из вежливости, на минуту отрываясь от своих невеселых мыслей.

— Изучал, — неопределенно хмыкнул старичок. Но капитану уточнять было некогда.

— Сюда давайте! — стараясь рукой загрести всю церковь, закричал он женщинам, подходившим с ведрами и лопатами к шоссе. — Продукты привез. Там разберите в кузове, только без паники. Или нет! Отставить. Пусть старшие распределят.

«Будешь тут не в своей тарелке, — думал он. — Были б вагоны, честное слово, погнал бы назад в столицу. Нечего им тут делать...» Он суеверно жалел женщин, надеясь, что хорошие люди там, за линией фронта, тоже пожалеют его жену и детей.

Старичок меж тем потрусил в церковь, где, как видно, была ремонтная мастерская, потому что оттуда тотчас выскочило несколько пацанов с двумя тачками — на каждой лежало по баллону — и с гиканьем повезли их через шоссе к редкому леску.

«Бог с ними! — подумал капитан. — Пусть займутся. Оно лучше, чем бездельничать. Безделье — мать

паники и беспорядка. А за делом и страха меньше... Кто знает, может, здесь и остановим».

Но тоска грызла его отчаянная.

5

Всё началось с того, что утром на пересылке продуктов ему не отпустили. Выдали только по буханке хлеба на каждую окопницу и еще каких-то комбижиров, но и то не на все триста душ.

— Бюрократы! — пробовал нажать капитан. — Что же, пустую машину за сто километров гонять?

— Нету, капитан, — отрезал завстоловой, пожилой коротышка-сверхсрочник. Четыре треугольника высывались из-за накрахмаленного ворота его халата. — У нас, кроме ваших женщин, люди есть. Мы не склад. Кормить — кормим, а отовариваться на базе надо.

— Так раньше ж давали?!

— То раньше, а то теперь...

— Ничего не теперь. Войну никто не отменял. Слышишь, старшина, — не то приказывая, не то заискивая, прибавил голоса капитан. — Я тебе говорю: крупу давай. И комбижир не прячь.

— Нету, — повторил старшина.

— Выполняй приказ, сверхсрочник. Точка!

— Нет, — мотнул седым ежиком старшина.

— Невыполнение?! Пристрелю!

— А ну, капитан, катись к едреной Фене, — зевнул старшина. — Навидался я нервных. Стрелялка у тебя еще не выросла, а то бы немцев к Москве не пустили.

— У, гад! — схватился за кобуру капитан, но маленький сверхсрочник плюнул перед ним на пол каптерки и нахально повернулся спиной, считая разговор законченным.

— Зараза... — вздохнул худой капитан, выходя на станционный двор. «Попался бы ты мне за Днепром.

Так ведь таких в тылу сберегают, — подумал он, немного успокаиваясь. — Нечего было тебе, бывший политрук, глотку драть. Был ты человек, а стал к женщинам привесок... А чтоб его!» — и капитан совсем успокоился, обрадовавшись, что никто не слышал разговора в каютке.

— Где отовариваться можно — не знаешь? — спросил молодого водителя уже после того, как они выехали за ворота.

— Разузнаем, — ответил боец. Голос у него был уверенный, а лицо чистое и тонкое, городское. Но продсклад искать им не пришлось.

На узкой булыжной, летящей под уклон улочке, а может, и в переулке (капитан только вчера утром выписался из госпиталя и Москвы не знал) наперерез их «газику» выскочил пожилой мужчина и, вздымая руки, запричитал:

— Товарищи военные! Товарищи военные! Спасите!.. Грабят!

— Тьфу ты, — ругнулся водитель, отчаянно тормозя и резко выруливая на тротуар.

— Грабят, товарищ командир! Больше полмагазина вынесли!

— Где? — крикнул капитан, второй раз за какие-нибудь четверть часа хватаясь за кобуру.

Что творится внутри магазина, с улицы было плохо видно, но маленький продмаг был набит, как бесплацкартный вагон. Единственная витрина была напроць выбита, и через нее совали мешки с крупой и сахаром. Гул стоял невообразимый, впрочем, вполне вокзальный.

— У-у-у! — только и выдавил капитан, неловко припадая на простреленную ногу, и с ходу, не раздумывая, толкнул рукояткой «ТТ» какого-то типа в пальто с зимним воротником, принимавшего через витрину заколоченный ящик.

«Хорошо, не женщина!» — успел подумать и тут жажнул в воздух.

— Прекратить! Застрелю! — затрясся он, словно был контужен.

Всё, что было в ларьке, разом отвалило от витрины, замерев, как перед фотоаппаратом. Только тип в зимнем пальто шарил на тротуаре — искал кепку. Она валялась рядом.

— Как допустили? — напустился капитан на завмага, — Почему милицию не вызвали? Или заодно с ними?

— Да что вы, товарищ командир?! Зачем обижаете? Я же ничего не бросил. Я же не бежал, как другие...

— Звонить надо было.

— Так не заслужили мы телефона. У нас мелкая точка...

— Интересное кино выходит, — вздохнул капитан. — А ну, назад! Я тебе убегу, — пригрозил он пистолетом парнишке, который готовился выскочить через витрину. — В другой ход не уйдет?

— Нет. Там замки на петлях, — униженно заверил завмаг.

— Ну, беги, торгаш. Звони. Только — раз-раз — одна нога здесь — другая напротив. Две минуты отпускаю.

— Ой спасибо! Спасибо, что сразу всех засекли! — визгливо повторял старик, перебегая мостовую.

— Телефон испорчен, — закричал он из будки. — И этот тоже... — чуть не рыдал из соседней.

— Е-ка-лэ-мэ-нэ! — выругался капитан. — Не могу я с вами загорать. Женщины у меня не кормлены. Слушай, случаем не знаешь, где тут армейский продсклад?

— Не уезжайте, товарищ командир! — взмолился запыхавшийся завмаг. — Ну, побудьте еще минуточку. Без вас ведь опять всё начнется. Или уезжайте! Езжайте на здоровье. Только стрельните меня сначала! — Он

уже завёлся. — Стрельните меня. — Всё равно то же самое будет.

— Ты что, опсихел! Где тут у вас военная продбаза?

— Зачем база, товарищ военный? Вам продукты нужны? Берите. Сахар? Берите. Масло? Ящик? Пожалуйста! Крупа? Забирайте! Разве я для себя держу? Я для победы стараюсь. А они тащат! Берите всё, товарищ командир! Пусть лучше ваши жены и дочери будут сыты, чем это хулиганье.

— Ну и припадочный ты! Какие жены? Жена моя и пацаны у немцев. Свихнулся ты, папаша. Хотя, стоп! Требование, накладные — у меня по форме. Может, отпустишь? Три сотни женщин жратвой не обеспечены.

— Конечно, конечно! — засуетился завмаг. — А ты лежи, лежи, — цыкнул он на старика в зимнем пальто, который наконец отыскал свою кепку и пробовал подняться с тротуара. — Не стыдно тебе, Прохор Степанович? Пожилой человек...

— Знакомый? — спросил капитан. — Или они тут все друзья-знакомые? А ну-ка вот что, товарищ заведующий. Организуй их, пусть грузят. Правильно, боец? повернулся к водителю, который с независимым видом курил, привалясь к борту своей полуторки.

— Точно, товарищ капитан. Пусть потрудятся.

— А ну выходи-носи! На первый раз прощаю. А вообще бы не стоило, — сказал повеселевший капитан.

— А что, немцам оставлять лучше? — злобно спросил старик.

— Каким немцам? Пули захотел?

— Каким? Обыкновенным! Радио слушать надо.

— Ты мне тут не верещи. Бери мешок и грузи в кузов, не то передумаю! — рассердился капитан. — Панику разводить? Ишь, паникёр. Носите, носите... А ты, отец, — кивнул завмагу, — бумаги тащи. Подпишу, где надо... Тоже вздумали — немцам!.. Из-за таких гавриков и отступаем.

— Вот бы на фронте и стрелял, — ответила какая-то тётка из-под мешка, который она поднимала с двумя девчонками, похоже дочерьми. — Не мы выдумали. Приказ был не оставлять ничего...

— Ну и ну, — повернулся капитан к завмагу. — Какое там еще радио?

— Не знаю, я не слышал, — ответил тот. — Передавали: «Ждите важное сообщение». У меня тут репродуктора нет. Может быть, врут. Сейчас слухов много.

— Врут, — твердо сказал капитан. — Не унывайте, папаша. Спасибо, что продуктами выручили. Теперь прямо на окопы махну. У меня женщины не накормлены.

— Вам спасибо! Тут вот подпишите и тут. Я вам всё, как есть, поставил. Два ящика — масло, лапша. Восемь мешков — пшено, песок, гречка.

— Ладно, верю. Прощай, отец! — крикнул капитан уже из кабинки. — Увидимся после победы!

— Ну, теперь жми сюда, — повернулся он к шофёру, вытягивая из-под шинели планшетку с картой. — Вот, где крестом отчеркнуто. Разберешь?

«Триста женщин, — не шло у него из головы. У меня одна, и то спать не могу, а тут все триста!» — И он опять увидел перед собой так близко, что разве только дотронуться не мог, свою Серафиму, солидную женщину, вдвое шириной и весом против него, суховатого и легкого. «Давала она мне политдрозда, — улыбнулся он. Как все несколько забитые семьей люди, бывший политрук любил иногда промочить горло. — Знал бы второй батальон, какие кувалды у Серафимы Сергеевны! А может, и знал. Красноармейцы — народ дотошный, всё поразведают... А ведь ходок ты был, политрук, — сказал он себе. — То есть не политрук, а когда еще помкомвзводом ходил. А политруком — уже мало: на манёврах раз и два раза в санатории. А больше не было. Заливаешь, — подмигнул самому себе. — Да нет. Правда. С Раисой ведь ничего не было...»

Раиска, Раиса Васильевна, была сестрой-хозяйкой госпиталя. Очень самостоятельный товарищ, не замужем.

«Можно сказать, на самом краю удержался, — снова улыбнулся капитан, вспомнив, как вчера в бельевой она его обняла, когда он менял госпитальное белье на свое армейское. — Показался я ей. Это точно. Все искали, где поприжать, а я с ней вполне вежливо, по имени-отчеству, как, мол, живете, самочувствие и настроение. Вот и понравился. Только нехорошо это. Симка, небось, сейчас щеки сажей мажет. Господи, хорошо хоть не первой юности (и красоты, согласись, политрук!..). И красоты, — не стал спорить он. — А зачем? Красота — не тарелка, с неё не позавтракаешь. Зато пацанов — первый сорт! — родила... Нет, незачем и пустое. Ты тут — чужую, там фрицы — твою...» — закашлялся вдруг он, потому что в кабину пахло гарью. Видимо, где-то что-то жгли, и по улице навстречу полуторке летело густое серое облако, похожее не то на снег, не то на тополиный пух.

«Что с тобой? — оборвал себя капитан. — Про что разводишь? Симки, может, в живых нет. Жена командира. А до прошлого года — политрука».

И его отчаянно потянуло к Симке, к Серафиме Сергеевне, что была вовсе не мёд и не сахар. К той самой Симе, поварихе командирской столовой, с которой он гулял семь лет назад, не думая вовсе расписываться, а женился из доброты и жалости, потому что Сима не хотела избавляться от ребенка, да и комполка упрашивал:

— Женись, Гаврилов. Не хочется мне переводить тебя от нас. Ты же прирожденный краском. Щорс. Только что бороды не хватает. Женись, и шут с ней. А возраст (Сима была старше на шесть лет), так оно к лучшему. Гулять в гарнизоне не будет.

— Ты женат? — спросил Гаврилов шофера. Они уже оставили Москву и два КПП за ней и неслись почти пустой магистралью.

— Нет, — мотнул головой шофер, не вынимая изо рта папироски.

«Не поймет, — подумал Гаврилов. — А объяснять — у меня слов таких нету, чтобы понял, как от всего этого домой к Симке охота... Домой! Скажешь, как же! — рассердился он. — Дом-то ту-ту...» Но ему всё равно хотелось домой, куда угодно, но в ту комнату, где уже всё по-Симиному, хоть въехали они в нее только вчера или даже сегодня на рассвете. Какие у политрука вещи: чемодан да детская посуда... А Сима умела: раз-раз, и жильё у нее. И уже вечером зовет:

— Заходите, товарищи командиры, чай пить с вареньем.

— Везет Гаврилову! — завидовали неженатые, выскрёбывая по три раза чайные блюдечки, и спешили к девушкам на танцы. А Гаврилов покорно стоял с полотенцем у плиты или примуса. Симка мыла посуду, а он вытирал.

«Но сейчас, когда всё наперекоски, и старый уже — тридцать первый год пошел, и сивость в волосах — честное слово, не в девчатах счастье. А сидела бы рядом вместо этого курца-водителя Симка, страх бы вчетверо убавился. Она и баранку вертеть умеет — выучил. Вообще способная. Такой бы в институт и стать командиром производства. На блюминг. Говорят, на всю страну одна женщина есть на блюминге... Вот бы и Симе так...

Тут, Сима, сейчас такой поворот, — начал вдруг он жаловаться жене, — что без тебя, как без стопки, не разберешься. Женщин мне придали. Триста душ. Всё равно как помещику. А я над ними сроду не командовал. Вот бы тебе как женсоветнице. Ты бы их — раз-раз — в норму привела. А я с крыши «ГАЗа» разговаривал — никакого впечатления».

С мыслями о Симке даже сидеть было удобней. Он поднял простреленную ногу и упёр в стенку кабины.

— Хороша дорожка? — спросил водителя. Они уже свернули с главной магистрали на другое шоссе, тоже асфальтированное, но поуже.

— Тормозить не надо, — согласно кивнул водитель. И правда, шоссе было еще мертвее первого. Никого они не обгоняли, и навстречу никто не ехал. Только ветер свистел, да уже совсем редко и глухо ухали где-то зенитки.

— Бомбежки не боишься? — спросил Гаврилов.

— Нет.

— Может, женщин догоним.

— Вполне возможно, — согласился водитель.

«Такие вот дела, Сима», — повторил Гаврилов, но тут у молчаливого шофёра голос стал по-мальчишески ломким, лицо покраснело, и он вдруг сказал:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться! Вы здешний?

— Нет, я отовсюду, — зевнул Гаврилов.

— Понимаете, я хотел узнать. Только не подумайте, что паникую...

— Валяйте, чего там...

«Погоди, Сима, — сказал он жене. — Боец что-то нервничает...»

— Выкладывайте, — обратился он к шофёру.

— Понимаете, я москвич. То есть харьковский. Но я уже здесь два года. С первого курса забрали. Так вот никогда не было такого: «Ждите важное сообщение».

— Ну и что...

— Когда война началась, было: «работают все радиостанции Советского Союза...»

— Не вижу вопроса, — сказал Гаврилов. — Вы вон почти целый курс института кончили, а обстановки, ситуации не понимаете. А в чём ситуация? Ну, в чём?

— К Москве немцы идут...

— Это не ситуация, а частность, — скривился Гаврилов. — Вы главного не соображаете. А оно, скажу вам по секрету, в том, чтобы головы себе не ломать и

выполнять приказ. Вот дорога хорошая, пустая, жмите и радуйтесь, что скорость можно давать. И я вон радуюсь, что женщинам продукты везу высшей качественности, а не комбижир какой-то. А если за всех голову ломать, то на личную обязанность, на священный долг сил не останется. Сталин Москву защищает, а вы руль держите. Ясно?

— Оно-то ясно, товарищ капитан... Но как-то, понимаете, шоссе уж очень пустое...

— А это не твоя печаль. Ты, что ли, дорожная инспекция?!

«А он с мозгами, как думаешь, Сима? — вернулся к жене Гаврилов. — Головастая у нас юность! Из вузов берут. Но шоссе — правда, хоть шаром кати... А вдруг они того...»

— А, сволочь! — выругался он вслух, вздрогнув так, будто получил кулаком в челюсть.

— Зубы болят, товарищ капитан? — спросил водитель.

— Ага, — кивнул Гаврилов, который видел дантистов только на медицинских комиссиях.

— Закурите. Помогает!

— Нельзя мне. Легкое прострелено, — не соврал капитан.

— А как вас?.. — покраснел водитель, который еще не видел войны.

— Пулеметом из танка. Нервы не выдержали — вперед полез... Да ну его, не в этом беда, парень. У меня жена с пацанами под немцем осталась.

— Да, я слышал. Вы завмагу говорили.

— Вот что плохо, товарищ боец.

— Да, понимаю...

— Ну, этого ты, положим, не поймешь. Но спасибо за сочувствие.

«А дорога и вправду как на том свете: никого», — подумал он, а вслух сказал:

— Резервы, сам понимаешь, не здесь стоят. Резервы втайне накапливают.

— Как Наполеона, его тут угробим, — радостно согласился водитель.

— Наполеона — после Москвы, а Адольфа угробим перёд... — строго поправил Гаврилов.

— Говорят, американцы в Мытищах высаживают, или неправда?

— Неправда. Слухов сейчас, парень, много. Не всем верить надо. Америка фрицам войны не объявляла.

— А может, англичане? — с надеждой спросил водитель.

— Еще голландцы, скажи. Нам, кроме как на себя, надеяться не на кого, — твердо сказал капитан. — На нас надейся. Нас много. А что шоссе пустое — это ничего.

— Конечно, ничего, — кивнул студент. — Даже хорошо. Скорость дать можно. Вот догоним эшелон и повернем назад.

«Соображает!» — подумал капитан.

— Еще чего! — сказал вслух. — Ты, что ли, поворачивать будешь? На месте есть фортификационное начальство! Оно пусть командует. А поворачивать будете руль, и то, если я прикажу. Так вот... Поняли? — Но тут же почувствовав, что был лишне груб, а с водителем пережимать никогда не надо, Гаврилов положил ему руку на плечо, что могло означать: не скисай, мол, парень. Не пропадем! Или что-нибудь в этом роде. — Инженерное начальство, — сказал капитан вслух, — само соображает. Да у них там телефон, или даже рация есть, — нетвердо добавил он, зная, что присочиняет. — Они свое «важное сообщение» еще, может, вчера слышали. Если только не вранье, — добавил для собственного ободрения. — Нет, Москву не сдадут. Москва — это, брат, политика! Москва — это, можно сказать, — всё, хоть и мы с тобой не оттуда. Слышал, когда надо сказать: много, без счету, говорят — Москва?

— Слышал, — неловко усмехнулся водитель. — И когда в очко два туза выходит, тоже называется Москва.

— Ну, ты мне не остри, — помрачнел капитан. — Два туза — не перебор! Перебора не будет.

6

Но перебор — не перебор, а получалось что-то не то. У переезда почти перед самым носом пронесся в обратную сторону порожний разномастный состав с паровозом на хвосте, и тут же стало видно женщин, которые с ведрами ползли через картошку.

— К церкви, товарищ капитан? — спросил водитель.

— К ней. Где-нибудь обнаружим...

Но фортификационного или — проще — инженерного начальства так и не отыскиали.

— Не было здесь таких, — вежливо, словно оправдываясь, разводил руками старичок в балахоне. — Тут два дня отрядов не было. Может быть, ночью проходили.

— А стрельбу слышно?

— Простите, я глуховат несколько, — смутился старичок. — А смена моя, — он показал на крутившихся рядом парнишек, — ночью спит за троих. Но, наверно, стреляют. Только далеко. Стекла у нас в доме чуть-чуть поют, и, знаете, посуда в буфете тоненько-тоненько так ноет, словно тоскует, — добавил, то ли радуясь, то ли извиняясь за вольное сравнение.

— Ясно, — сказал капитан, хотя ясности как раз не было.

— А это, простите, ваши, как бы это сказать, бойцы? — полюбопытствовал старичок, тыча рукой в растянувшихся по полю женщин.

— Да. Окопы рыть будут, — ответил Гаврилов. — Идите в кабину, — сердито кинул шофёру, жалея, что не погнал его раньше, и тот слышал разговор. «Хотя куда правду спрячешь?» — тут же подумал про себя.

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— Эй, товарищ старшая! — крикнул вскарабкавшейся на шоссе Марье Ивановне, Ганиному начальству. Крупная, как Сима, она запомнилась ему еще с утра. — Я тут заправку привез. Прикажи своим сгрузить. Питание — первый класс.

— Ясна-а! — крикнула она, подплывая к полуторке.

— Помогите им, — сказал Гаврилов шофёру.

Машину стали разгружать, но не так споро, как на рассвете полуторки с инструментом. Видно, допёк женщин бросок через картофельное поле.

— Мне их разместить надо, — повернулся Гаврилов к почтительно ожидавшему старичку. — Тут у вас как, село-посёлок близко?

— Километра два будет.

— Не годится. Окопы не танцы.

«Бегай потом их собирай...» — на всякий случай подумал он.

— А в церкви что? Ремонтная? Вот пускай в церкви ночуют. А вас уж не знаю куда...

— Да, конечно, — засуетился старичок. — Мы понимаем: всё для фронта. Мы сами с удовольствием для фронта. Оборона здесь выйдет просто великолепная.

«Слава Богу, не уйдут отсюда, — обрадовался старичок. — Куда мне отступать с Клавдией Тимофеевной? А в подвале на случай обстрела я ей уголок оборудую. Пусть отдыхает, сердечница...» — и он стал излагать Гаврилову преимущества обороны на реке.

— Ладно. Но без самодеятельности, — сказал Гаврилов.

— Ну, ребятки, — крикнул старичок, чуть не как бородинский полковник, только что не добавив «не Москва ль за нами». — Везите баллоны. Настоящая работа будет. Рельсы начнем резать, ежи сваривать!

— Вот что, отец! — вслед ему крикнул капитан. — Простите, не знаю, как вас по имени-отчеству. Так вот, Михаил Федорович. Вы человек, видно, грамотный, да-

же бывалый. Наверно, инженер? Так вот поручаю вам тут пока возглавить строительство.

— Я, собственно, только Самарское техническое... вместе с Сергей Миронычем Кировым, то есть гораздо раньше, — запутался от волнения старичок. — Но закончил, слава Богу, закончил, — добавил он. — Так что получается инженер не полный и другого профиля. Но примусь. С удовольствием примусь... Только женщин, простите, несколько побаиваюсь...

— Ничего. Над ними свои командирши есть. Вы только им там нарисуйте, где рыть. Пусть ковыряются.

«Эх, нельзя расхолаживать энтузиазм», — сказал он себе.

— Чего-нибудь да нароют, — добавил вслух. — И еще, Михаил Федорович, покажите водителю, где тут поближе отделение связи.

— Лови, — кинул планшетку шофёру.

— Слышишь, — подошел капитан к Марии Ивановне, которая руководила разгрузкой. — Останешься за меня. Порядок держи. Пусть кашу варят. Масло не экономят. Накорми людей как следует. И еще за сеном-соломой отправь. Пусть застелят в церкви, а то застудят еще...

— Ясна-а! — засмеялась грузчица. — Поняла! Езжай, мужчинка, — подмигнула со значением.

— Да. И еще пусть трудятся в меру. До темноты — не дольше.

— Костры можно будет разжечь, — подал голошишко подошедший Михаил Федорович.

— Отставить костры! — раздраженно оборвал капитан. — «Что это на мою голову активистов сегодня много». — Самолетов нам не хватало, — объяснил вслух.

— Я полагал — дело экстренной спешности...

— Спешно, да с головой, — отрезал капитан и тут же, передумав, потрепал, как недавно шофёра, старичка по балахону: мол, не мне вас учить, Михаил Федорович, да обстановка сейчас особая.

«А что если связи нет? Как я их буду отсюда увести, когда на кирках и ломах выложатся? — спросил себя. — Вот так всю дорогу: одних подгоняй, других за руки держи — активистов этих! — а на немцев уже сил не остается».

— Крути на почту, — сказал он шофёру.

В церкви было темновато, потому что почти все окна были забраны фанерой. Пахло горячим железом и соляжкой от сломанного движка, но Лия радовалась этим незнакомым ей запахам. Она бочком, будто в щель, вошла в двери, через которые свободно проезжали трактора.

— Помолимся, что ли! — засмеялись за ее спиной.

— Ой, сто лет не была.

— Не храм, а одна пакость, — проскрипел чей-то немолодой голос.

— Лийка, загородь меня, — шепнула Ганя, но на нее тут же напустились женщины:

— Креста на тебе нет!

— Господь попомнит!

— Нету Его, — усмехнулась Ганя. Лицо у нее было, как у шкодливой кошки. — А крест, оно правда, я в торгсине сменяла.

«Всё-таки это ужасно, — подумала Лия. — Есть ведь — совсем немного, но есть — религиозные. И для них это оскорбительно. Надо уважать чужие чувства. Правда, тут уже мастерская. Но как мы еще страшно невоспитанны». И она зарделась, вспомнив, как Санюрин отец, управдом, за день до войны ввалился к ней в комнату отбирать жилплощадь.

— Да пропиши ты Саньку! Чего там?.. Куда одной столько?! — кричал он, изрядно пьяный, и вдруг начал ее обнимать, бессмысленно и дико распукая губы. Она, вне себя от брезгливости, отступала вглубь комнаты, боясь толкнуть нетрезвого и пожилого человека, но тут из коридора влетела Санька, треснула что есть

силы отца по спине, а потом она и Лия, обнявшись, проплакали до утра.

— Кончай ночевать! — расплескалось по церкви и повторилось, отдаваясь от стен.

— Работать, бабочки!

— Выходи вкалывать! — кричали старшие команд.

Перед храмом круглолицый толстенький старичок размахивал руками, распределял на участки.

— Впереди бугра, ниже по склону ройте одиночные. Пожалуйста, друг от друга не меньше тридцати шагов. И в шахматном порядке, чтобы не в затылок один другому. А сам бугор прорезайте канавами, ну, шагов что-нибудь на пятьдесят и не в полный рост, а по плечи. Бруствер уложим — как раз будет. И, пожалуйста, извилисто. Я сейчас вам покажу.

Он попросил у Гани лопату и побежал на бугор чертить линию траншеи.

— Вот дед-непосед! — удивилась Ганя. — Старый, а летает! Колобок чистый.

И впрямь Михаил Федорович будто парил на крыльях. Только на седьмом десятке ему, сельскому учителю алгебры и физики (в сезонное время также и технику МТС), привелось командовать чуть ли не батальоном. Раньше его слава занимала не больше трех вёрст в радиусе, да и то ребята всё с меньшим терпением выслушивали его радостную воркотню о теле, погруженном в жидкость, или о корнях и возведении в степень. И вот, когда уже ждать не собирался, прямо с неба свалилось, как судьба, — и стал нужен, просто необходим. И еще такая удача, что рядом со своим домом, — и все соседи увидят, как он, Михаил Федорович, немолодой, но бодрый и вдумчивый мужчина, собственным примером и личным руководством не пускает врага в столицу.

— А ты чего мух ловишь? — напустилась на Ганю уполномоченная. — Лопата твоя где?

— Да старикан вон одолжил!.. Мне с ведрами справнее, Марья Ивановна. Я — раз-раз за водой...

— Ничего, без тебя обернутся. Бери инструмент и марш копать.

И Ганя полезла на бугор, завистливо оглядываясь на женщин у церкви. Одни тащили с реки воду, другие копошились у костров, пристраивая над ними закопчённые вёдра, третьи уносили мешки в храм — как бы не полил дождь. Две женщины, разживясь в мастерской топорами, нещадно раскулачивали деревянный сарай на церковном подворье.

— Тише, девки! — прикрикнула на них уполномоченная. — Закуток капитану оставьте. А то ему с вами в церкви ночевать неприлично.

— Ха! — откликнулись рубившие сарай, и эхом отозвались возле костра поварики. Настроение тут было вполне боевое. И Марья Ивановна пошла глядеть, как идут дела на траншеях.

— Роешь? Молодец! — похвалила Ганю. — А каша не сбежит. Все получают. Капитан маслом разжился. — А ты как лопату держишь? — напустилась на Лию. — Жидкая ты кость! Не приучена? Не всё тебе книжки читать! На тётку гляди, учись. Ишь, как ворочает, — кивнула на Ганю. — Молодец, хохлатка! Две миски получишь! А ты учись, рыжая! Ботинки у тебя какие-то не нашенские. Каблук зачем? Каблук срежь, мешает.

— Научится, — негромко сказала Санька, смущаясь за подругу. Но уполномоченная, не расслышав, пошла вдоль намечающихся траншей.

По бугристому берегу от моста до моста женщины долбили землю. Непохоже было, что это они перед рассветом отворачивались от ломов и кирок и толкались в очереди за лопатами. Теперь, когда и поезд и бросок через картошку остались позади, наступила бодрая ясность, и все досадовали только на темень, которая незаметно слезала с серого неба, забирая под себя дорогу за мостом и лес на горизонте.

— Давай, давай!

— Мало успеем!

— Темнеет, нажимай.

— Выроем немцу могилу.

— Он не дойдет досюда, — слышалось по всему берегу.

«Как муравьи», — на минуту передыхая, оглядела Ганя бугор.

— Давай, давай, Лийка! Курочь землю! — напустилась тут же на рыженькую. Получив похвалу начальства, Ганя как-то незаметно для себя поднялась над другими и чувствовала, что может прикрикивать на товарок. Впрочем, все старались. На вершине бугра четыре женщины — видно, там пошло каменье — дружно, в один дых подымали ломы.

И железная лопата

В каменную грудь... —

напевал про себя допризывник Гошка. Впереди бугра, почти против автомобильного моста, уже по полу коротковатого пальто уйдя в глину берега, он вырубал свой отдельный окоп.

— Как для себя стараешься, — крикнула ему сверху Санька.

— Ага, — недовольно отмахнулся он, швыряя вперед желтую землю. Санька сбила его. Копая, он представлял, что с бугра на него смотрит Каринка, и под ее ободряющим взглядом низкорослый Гошка чувствовал себя сломившим три войны ветераном. Он и вправду рыл для себя. «Тут и останусь! Только бы винтовку дали, а еще лучше «Дегтярев». Вот отсюда — та-тат-та-та-та!» — Он опустил на колено, целясь из невидимого пулемёта в деревья другого берега.

— Порядок! — меж тем ободряла себя Марья Ивановна, вышагивая впереди кругленького старика, который пытался объяснить ей, как он тут обеспечит оборону.

— Ну что ж, двигай, — милостиво зевнула, не дослушав его чересчур быстрой, мудрёной и слишком вежливой — на ее вкус — речи.

— Шуруй. Я проверю.

«Да, полный фронт работы. Без оружия удалось! — важно размышляла она. — Вот оно как, капитан! Не смылся бы только, леший! — на мгновенье обеспокоилась, вспоминая худого и невеселого Гаврилова. — Да нет, непохоже. Из себя аккуратный. Продукт хороший привез!» — и, улыбаясь уже чему-то своему, она поплыла к церкви.

Тут всё уже давно раскочегарилось, снизу трещало, в десятках двух ведер через край кипело.

— Снимай пробу, кума! — крикнула уполномоченной крайняя повариха. — Ну как, даем угля? Мелкого да много?

— Даёте! — весело отозвалась Марья Ивановна, принимая черпак и важно притягивая его к губам, словно в нем была не каша, а водка.

— Соли вроде как раз, — сказала вместо похвалы, чтобы не ронять командирского достоинства. Сейчас кормить пригоню. Всего огня не гасите, горяченького капитану оставьте.

7

Гаврилов с водителем тряслись по разбитой мощёнке, на которую они свернули сразу за железнодорожным переездом. Студент, слава Богу, молчал, сверяясь всё время с картой и боясь пропустить следующий поворот. Быстро темнело.

— Сколько женщин в кузов возмешь? — спросил вдруг Гаврилов.

— Штук двадцать пять, если тихо лежать будут. А что?

— Да ничего.

«Если двадцать пять, то двенадцать ездов. Клади тринадцать, потому как продукты, лопаты и еще кирки, ломы. Ну, километров на двадцать оттащил бы... Тринадцать на двадцать — двести шестьдесят да еще на два. Полтора дня работы...»

— Не получится, товарищ капитан. Бензина не хватит, — сказал водитель. Видно, про себя занимался той же арифметикой.

— Знаю. Смотри не прогляди поворот, — помрачнел Гаврилов. — Скоро уже?

— Сейчас будет. Больных и которые старые — вывезу... — Студент хотел оставить за собой последнее слово.

— Ладно, увидим, — отрезал Гаврилов. «Опять активничаешь!» — устало подумал он.

Меж тем «ГАЗ», два раза качнувшись на бугре, въехал в деревню. Было уже совсем темно. В избах света не было, то ли из-за маскировки, то ли из-за отсутствия тока или керосина.

— Е-кэ-лэ, — выругался капитан. — Где это шарашкино отделение? А ну стучи, студент, в первую избу.

— По проводам увидим, — не скрывая удовольствия от собственной сообразительности, отозвался водитель. — Вот оно, — победно притормозил у кособокой халупы, в окнах которой тоже не было огня.

— Порядочки, — вздохнул капитан, выбираясь из кабины и снова припадая на недолеченную ногу. — Тыфу! Заперто! — закричал с крыльца. — А чтоб они, — нещадно заколотил в дверь. Никто не отвечал.

— Вымерли, что ли? Стучи, студент, к соседям!

— Ктой-то? — старушечьи донеслось из темноты.

— Связистка где?

— Скаженные! Дня им мало?.. Где? Дома — где ишо! Рули на край села. Третья изба от конца.

— Спасибо! — ответил за капитана студент.

— Порядки, дери их, — усмехнулся Гаврилов, забираясь на подножку грузовика. — Как при Горохе...

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— Точно, — согласился студент.

В третью избу капитан вошел не стучась. В комнате тускло светилась керосиновая лампа. За столом против дверей сидел худой старик с трепаной бородой и совсем голым узким теменем. Видимо, был на взводе, потому что бутылка перед ним была пустой, и лез он в блюдо с квашеной капустой уже не ложкой, а всей рючей.

— Ты, едина мать, связист? — накинулся на него капитан.

— Не, — мотнул старик узким черепом. В тусклом свете керосинки череп сиял, как захватанная колодезная рукоять,

— Вот она, жадюга! — погрозил кулаком с налипшей капустой в угол комнаты, где сидела (Гаврилов теперь разглядел) женщина в пальто и в платке, с очками на длинном носу.

— Прикажи ей, служивый! Пусть первача отцу даст! А то я знаю, она на почтамте от меня держит... Так я её весь почтамт к свиньям собачьим снесу.

— Пойдемте, — сказал Гаврилов женщине. — Мне звонить надо.

— Идем, идем! — обрадовался старик, пытаясь выбраться из-за стола. — Сейчас её ларь раскомиссарим! Выпьем с тобою, солдат!

— Заприте его, — брезгливо сказал капитан, выходя на темную улицу.

— Да он уже хорош. Дальше порога не уйдет. Вы тут осторожно идите, товарищ военный. У нас ямы под столбы весной рыли...

— Езжай за нами! — крикнул в темноту Гаврилов.

— Что, принимает отец? — пропустил женщину вперед.

— Ужас, товарищ военный. Не приведи Господи. Перед воскресеньем мачеху схоронили, так еще сухой не был.

— Ясно, — вздохнул капитан. «Кому-то и кроме войны хватает, — подумал он. — Вот так отъедешь от магистрали, и на тебе...»

— Москву сразу дадут? — спросил, поднимаясь вслед за женщиной на крыльцо почты.

— Попробую. — Женщина нашарила ключ под перильцем и звякнула навесным замком. — Погодите, я свет прилажу.

Тут тоже не было электричества, но керосиновая лампа позволила Гаврилову разглядеть комнату и связистку. Комната была самая обыкновенная, по-учрежденчески перегороженная невысоким барьером, за которым торчал стол с полевым телефоном, топчанчик, застеленный серым суконным одеялом, конторский шкаф и рядом печка, но не русская, а голландка. Связистка была совсем еще не старая, щуплая и сухая, собою невидная и заметная только очками. На минуту Гаврилова просквозила жалость: «Тебе и без войны бы вековухить, а теперь-то и вообще...» Но дела для долгой жалости времени не давали, и он, расстегнув под шинелью карман гимнастерки, протянул девушке листок с записанным номером. Телефонный аппарат работал от сухой батареи. Для вызова надо было крутить ручку. Но даже вид этой допотопной техники придал капитану уверенности, а когда после несметных междометий и восклицаний: «Аллё! Жду! Давай! Дежурненькая!» и так далее — очкастая девушка протянула Гаврилову нагретую её ухом трубку, он твердо поверил, что всё обойдется, враг вправду будет разбит и победа останется за советской властью.

Трепало немилосердно, и слышно было, как с того света, но все-таки на другом конце провода был железный порядок столицы, и, надрывая голос, кашляя и плюясь, он закричал:

— Кто у телефона? Кто? Не слышу! Говорит Гаврилов... Говорит капитан Гаврилов...

— Слышу. Откуда говоришь? Место назови... — прорезалось вдруг в телефоне. — А? Ну, ясно. Чего надо? — спросил усталый голос.

— Тожанова. Товарища Тожанова.

— Тожанова нету.

— Товарищ, не бросайте трубку. У меня триста женщин... Окопницы. На окопы посланных. А тут никаких инженеров. Никого.

— Так, — голос на другом краю стал твёрже. — А ты какого чёрта их привез? Послали?.. А начальства нет?.. Ну и гнал бы эшелоном назад... Ах, не был?! Продукты возил? Фрукты-овощи... Ну, постой. Сейчас узнаю.

Минут пять в трубке был один треск без голоса. Гаврилова била лихорадка.

— Сядьте, товарищ капитан, — сказала девушка. — Хотите — я вам налью?

— Нет, — помотал он головой, не отнимая трубки и прижимая другой рукой руку связистки к спинке стула. Рука была шершавая, рабочая, но тёплая, людская.

— Сядьте, — еще тише сказала девушка.

— Эй, Гаврилов! Так, что ли, тебя? — снова пробилось сквозь треск. — Как там у вас обстановка? Рое-те? Ну и правильно! Ройте. Ясно? У нас? А что у нас? У нас порядок! Важное сообщение?.. Какое тебе сообщение? А, это... Не было еще. Скоро будет. Будет, не беспокойся. Узнаешь, узнаешь. Так вот чего! Пошлют за тобой платформы. Платформы либо фортификаторов. Тех или этих — по обстановке. Звонил — обещали... Жди, так, ну, — замылся голос, — ну, хоть до пятнадцати, нет, до шестнадцати ноль-ноль. А пока рубай землю. И чтоб на полный профиль! До шестнадцати жди! А там — отправляй пешкодралом... Дойдут — не маленькие. Понял?

— Понял! Есть до шестнадцати! — вбил он в трубку всю радость, забывая узнать фамилию говорившего.

— Налить вам, товарищ капитан? — снова спросила почтовая девушка.

— Лей, голубка, — закричал Гаврилов и оттого, что не мог обнять того на другом конце провода, трубки не опуская, обхватил связистку и чмокнул ее куда-то возле очков. — Лей, голубка! Лей! Сколько я тебе за разговор должен? Червонца хватит? — Он отпустил девушку и сунул руку под шинель в карман гимнастерки.

— Я вам так проведу, — смутилась связистка. — Ой, какой вы...

— Какой — какой? — спросил он, протягивая деньги.

— Серьёзный — вот какой, — ответила она неуверенно. — Вот лучше выпейте. — Она достала из железного конторского ящика бутылку с марлевой пробкой и гранёный стакан. — Вам и квитанцию писать? — спросила с робкой издёвкой.

— Всё пиши, голубка! — выдохнул он, начисто забывая о ней и видя теперь только женщин, которые ковыряли землю за сельским храмом. — По всей форме, — добавил вслух, хотя уже думал об обратной дороге. — Выпить?.. А, чёрт, сглазишь еще... Эй, студент! — крикнул он, распахивая дверь почты: — Дуй сюда! Озяб? — сунул он водителю полный стакан, когда тот, несмело стянув пилотку, ввалился в комнату. — Пей. Разрешаю. Обратно сам поведу.

— Спасибо, — кивнул водитель.

— Три восемьдесят, — сказала девушка.

— Сдачу на духи возьми! — крикнул Гаврилов и сбежал с крыльца, в радости забывая забрать квитанцию.

Ни соломой, ни сеном они так и не разжились. Самые догадливые оккупировали ризницу, где потолок был низкий и дуло меньше. Десятка на два хватило брезента, который на ночь стащили с продуктов. А остальные — без малого три сотни — разлеглись от

царских врат до самого притвора. Под низ стлали пальто и стёганки и прикрывались тем же, а сами вжимались одна в другую, чтоб не совсем окоченеть.

— Ничего, защитницы! Капитан назавтра сена добудет!

— Сегодня по-армейски!

— Грейся кашею и Машею!

— Ватник скинь, поделись, подруга! — гремело под сводами.

— Только б мышей не было!..

— А крыс не хочешь?..

— Шоферка́ бы сюда!..

— И капитана можно.

— Капитан для Маньки.

— Начальство начальству греет...

— Да тихо вы! — с удовольствием отвечала Марья Ивановна. — Вам бы только языки чесать. Вон парнишку приютите, — кивнула на Гошку. Тот стоял в дверях, не зная куда пристроиться. «Может быть, машина вернется, поговорю с капитаном или с бойцом. Что мне тут одному среди женщин делать?» — думал он.

— Иди сюда, Гош, — громко зевнула Санька. Она укладывалась у правой стены. Ганя и Лийка мостились рядом.

— Ну вас, — буркнул Гошка и вышел на паперть.

Было совсем темно, но сверху, над церковью, ветром прорежило тучи, и кое-где мигали звезды. Москва была далеко. И тётка, незамужняя сестра отца, которая растила и жучила его вместо родителей-полярников, тоже была далеко. И оттого, что Каринка тоже была далеко, где-нибудь — он толком не знал, где — на Казанке или Горьковской дороге, было тоскливо, но одновременно свободно, по-военному тревожно и радостно. Перед храмом было так же просторно, как на крыше московского дома, но еще необычней и потому во сто раз лучше. И места для выдумки было больше.

Шум в церкви слабел, треск досок, догорающих в кострах, тоже слабел и наводил на мечту, как тихая музыка. И Гошка, согретый двумя мисками каши, весь таял, таял, становился легким и как-то заодно большим, громадным, как облако, только рос не с неба, а с земли — и уже, казалось, был ростом с церковь и мог одним собой — без всякого оружия! — перегородить мост и прикрыть берег. А Каринка — что сейчас ехала по Казанке — была маленькая-маленькая, и он уже не жалел, что на прощанье только пожал ей руку, а не обнял и не поцеловал, потому что как же ему — такому громадине — целовать пятнадцатилетнюю девчонку?

— Эй, парень, картошки печеной не хочешь? — крикнул женский голос.

— А? — вздрогнул Гошка, и мечта пропала. Но что-то от мечты еще в нём оставалось, и он, степенно ответив голосом пониже: «Хочу!» — важно вдавливая каблуки туфель, подошел к ближнему краю костра. Поварихи были всё-таки достойнее других женщин, и сидеть возле них в темноте, есть картошку, когда все другие спят, было не так стыдно.

— Вон макай, — пододвинули ему миску с растопленным маслом.

В лица он не вглядывался. Женщины и женщины. А вполне могли быть и красноармейцы, и он возвращался в мечту, но уже по-другому, изнутри. Вся громадность уходила в силу и была хорошо упакована в шинель, галифе и кирзовые сапоги. Рядом лежала невидимая винтовка, трехлинейная (самая надёжная в обращении, не то что самозарядная — с той на песчаной местности намучаешься!), и он, обжигая пальцы, чистил картошку, потому что завтра продукты не подвезут, весь отряд отрежут у этого моста, и три дня никто подойти сюда не сможет. Но белые, то есть немцы, положат здесь своих несметно...

— Не сладкая? — спросила женщина, которая протягивала миску с маслом. — Правда, подходящая? Давай теперь ведро в церкву снесем. Пусть погреются.

— Куда? Куда? Кто приказывал? — зафыркала у дверей уполномоченная. Она сидела у токарного станка на табурете, ждала капитана.

— Двигайсь, сестра. Тепло несем! — засмеялись поварихи.

— Людей будить, — недовольно буркнула начальница, но отменять инициативу не стала.

— Не скучай, Марь Иванна! С нами ложись! — крикнула Санька. — Капитан, небось, к связистке приклеился.

— Не трогай ее, — тихо шепнула Лия. Она еще не легла и в накинутом на плечи пальто сидела на корточках.

— Давай пальто, — сказала ей Ганя, доедая кашу. Из всего отряда у нее одной не было посуды, и она заправлялась после всех. — За оружие спасибо! — протянула Лие липкие миску и ложку.

— Вымыла б, хавронья, — брезгливо скривилась Санька.

— Ничего. Молодая — к реке слётает, — ответила Ганя. Она уже почуяла, что Лийка тут поплоше всех и поездить на ней самое милое дело.

— Слётает, — передразнила Санька.

— Ты чего, мужиком балованная? — спросила какая-то женщина рядом. На всю церковь светилось всего две «летучих мыши» — одна с верстака, другая с токарного, и через темень и надышанный пар Ганя женщину не разглядела.

«Балованная», — не успела ответить, — ее опередила Санька:

— Да не было у неё мужика. Возле чужих побирается.

— А ты почему знаешь? — рассердилась Ганя. — Возле чужих... у меня и свое было.

— Да сплыло, — ответила бойкая Санька.

— Было... Я в Ессентуки ездила... — не договорила Ганя и, отвернувшись от Саньки, заплакала.

Нет, не всегда она жила возле чужих. Было у нее и свое. В самом начале нэпа, в Липецке, пекли они с матерью и сестрой пироги и продавали у вокзала. И вправду ездила она в Ессентуки с земляком-полюбовником Сергеем Ерёмьчем, который извозчиком был в Москве, и с Кланькой, сестрой, совсем еще девчонкой. И там, на водах, Сергей Ерёмьч спьяну или по дурости испортил Кланьку, и она понесла, а избавиться испугалась. Убежала из дому и вернулась, когда подошло время рожать. И родила она Гане двух племянников. Тогда в Липецке опять появился Сергей Ерёмьч и объявил, что Кланьку увозит под Москву. Дом там купил.

— Как же Кланя одна управится? — спросила маманя, она уже почти не вставала.

— Ангелину возьмем, — сказал, как отрубил, Ерёмьч.

— А меня куда? — спросила маманя.

— И одна помрёте, — ответил, бесстыжие его глаза, Серёга, и Ганя поехала с сестрой и племяншами.

Нет, не врал Сергей Шлыков, купил полсарая на Икше и чего-то к ним пристроил. Короче, жить можно было. Не хуже, чем в Липецке. Теперь они вдвоем с Кланькой по очереди на Савеловский пироги носили. Только без маманиного замеса торговлишка гиблая пошла, а выписывать старую, больную Ерёмьч не захотел.

Так и жили, пока Серёга не продал (или, может, пропил!) лошадь, стал учиться на водителя грузовика и завербовался куда-то подальше, где рубль длинней, и начал заявляться на Икшу раз в два года, а то и реже.

Вот как было, и Ганя могла бы всё это рассказать, — да что толку — девки бы не поняли, да и поздно стало. Церковь наполовину спала, храпела, а которые не спали, переговаривались тихо:

— Спи!

— Ухайдакаешься завтра!

— Отбой! — звонко крикнули в дальнем углу, наверно, студентки, что пели на платформе во время воздушной тревоги песни про чайку и любимый город.

— А ну, — тихо. Вроде машина едет! — зычно сказала Марья Ивановна и поднялась с табурета.

8

Минут через пять капитан со студентом в темноте кабины, как братья, работали ложками еще вполне теплую кашу.

— Ну, как мои повара? — хвалилась уполномоченная. — Ты, капитан, заварки забыл, так я своей кинула.

— Спасибо, — хмуро сказал Гаврилов. Он чувствовал, что старшая заинтересовалась им, и ему неловко было красноармейца, да и не время было.

— Может, по второй? — спросила Марья Ивановна.

— Мне — спасибо, — ответил капитан. — А водителю повтори. Ему — надо! — тронул он локтем студента, намекая то ли на долгую дорогу, то ли на стакан первача.

— Да, пожалуйста, если осталось, — попросил студент.

— Навалом! — ответила уполномоченная и уплыла в храм.

— А ну, марш спать! — шикнула на паренька, который курил у дверей.

— Сейчас пойду, — буркнул Гошка.

Ему не то чтобы не спалось, а просто спать было жалко. И еще хотелось переговорить с капитаном или — на крайний случай — с водителем. Мечта подошла уже совсем близко, и дураком надо было быть, чтобы ее проворонить. Он чувствовал, что ночью, в тишине, среди трех сотен женщин, трем мужчинам (четвертый,

старичок, ушел в село к своей старухе) легче договориться, и потешаться над ним не будут, как позавчера в военкомате.

— Вот, горяченький! Пальцы не обожгите! — вернулась Марья Ивановна с двумя кружками и миской каши. — Заправляйся, боец, и на боковую, — протянула студенту миску.

«У тебя уже всё распланировано, — подумал Гаврилов. — И чего они, матери-командирши, ко мне липнут? Или слабину какую находят?»

— Еще раз спасибо, — сказал он, возвращая кружку, и, выбравшись из кабины, стал разводить затёкшими плечами.

— Боец в кабине ляжет, — шепнула, беря его под руку, уполномоченная. — А тебе в церкви неудобно. Я закуток в сарае приберегла. Брезента, правда, не укараулила, девки под себя положили. Но там не так сыро. Доски есть.

— К женщинам иди, Марья Ивановна. Старые мы уже, — тоже тихо ответил Гаврилов, вспоминая телефонный разговор, который теперь не казался ему таким веселым.

— Ну да — скажешь тоже! — с шутливой обидой обняла его женщина. «Гордится или робеет армеец? — решила про себя. — Наш брат, милиционер, попроще: не теряется!» — Какая же, — не сдавалась, — старая? Мне тридцать один. Да и тебе много ли больше?

— Ровесники, — сказал Гаврилов, набавляя себе год.

— Ты серьёзней глядишься. Да всё равно не старость! Самая спелость — говорю тебе, капитан.

— Раненый я, — решил прекратить ненужный разговор и отвадить сразу, но так, чтобы не обидеть женщину, потому вместе с ней командовать ему предстояло еще весь завтрашний день, а может, и дольше.

— Дела! — присвистнула уполномоченная. — А ты женатый?

— Женатый, — отрезал он. — «Вот липучка — клей резиновый», — рассердился про себя.

— Намучается с тобой баба, — теперь уже не жалея Гаврилова, развивала свои соображения уполномоченная.

— Похоже. Иди спать, Марья Ивановна.

— Отдыхай, бедолага, — кинула Марья Ивановна, подымаясь по сбитым ступеням в храм. — Спать! Кому я сказала? — напустилась на Гошку, срывая на нём досаду.

— Чего полуночничаете? — спросила в церкви Лию и Саньку. — Ложись, пухлявая. Я к тебе прижмусь. Вот, надо же, как людей калечат! — вздохнула она, укладываясь между Ганей и Санькой. Ганя уже похрапывала.

— Смехота, девки, — не дождавшись вопроса и не в силах держать в себе такую новость, стала откровенничать уполномоченная.

— Ого, — чуть не прыснула Санька.

«Какой ужас!» — подумала Лия, и недоброе чувство к подруге вместе с воспоминанием о Санькином отцеуправдоме вернулось к ней.

Лия поднялась с пола и, осторожно пробираясь между спящими, двинулась к дверям.

— Куда ты? Ложись! — зашипела Санька.

— А ну! какой с неё сугрев? — зевнула уполномоченная, вминаясь спиной в пухлую Санюру. — Эхма, где наша не пропадала, — снова зевнула она и приняла сон.

Перед церковью ветер разгулялся, и как-то по-бесовски брэнчало кровельное железо. Гаврилов, словно на физзарядке, быстро махал руками, задира л голову, и ему казалось, что звёзд с каждым разом высыпает всё больше и больше.

— О бомбёжке думаете, товарищ капитан? — звонко спросил Гошка, который не уходил спать.

— Е-ка, — проглотил Гаврилов на половине привычное ругательство, потому что из храма как раз выш-

ла какая-то женщина. — Ну что, много наавтогенили? — спросил чуть погодя, когда женщина зашла за церковь.

— Нет, я не местный. Я окоп рыл.

— К женщинам приписали!

— Да. На фронт просился, а меня сюда, — выпрашивая сочувствие, заныл Гошка.

— Ну, пойдем поглядим, чего нарыл, — сказал Гаврилов, догадываясь, о чем пойдет речь дальше. Он бы и сам, когда бы не простреленное легкое, выбрал скорее передовую, чем свою нынешнюю работу.

— Эй, студент! Подневальте полчасика! — крикнул в темноту шофёру. — Погляжу, как там чего...

— Пошли, — кивнул Гошке.

За церковью ветра было еще больше, он дул из-за реки, просвистывая храм, выдувая оттуда женский храп и относя его подальше, в сторону столицы. Так что на бугре, кроме ветра и лязга железа, ничего слышно не было.

«Вот малец, — думал Гаврилов. — Лет четырнадцать. А уже на фронт мудрит. Хорошо, хоть моим меньше...» За четыре последних месяца он, может быть, тысячу раз размышлял, хорошо или нет, что его мальчишкам только шесть и три года. То ему казалось, что будь они постарше, жене было бы с ними легче, а то, наоборот, ему хотелось, чтоб они оставались вовсе грудными, и тогда бы немцы их меньше обижали и жену бы не трогали. Но сейчас, глядя в спину Гошке, Гаврилов считал, что еще повезло с сыновьями. «И, слава Богу, не курят и к партизанам в лес не сбегут», утешался, забывая, что у него, тридцатилетнего человека, никак не могло быть детей Гошкиного возраста.

— Ну, не больно ты накопал, начальник! — сказал Гаврилов, когда, перескочив начатую женщинами траншею, они подошли к Гошкиному окопчику. — А земля здесь, между прочим, не трудная, — добавил, упирая правую здоровую ногу в край лопаты.

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— Времени мало было, — обиделся Гошка. — Но я сейчас закончу. Вон луна выходит.

И вправду, прямо над черным лесом другого берега вылез нижний зубец молодой луны. Тучи вокруг него клубились, как пар.

— Самолеты вполне летать могут! — присвистнул Гошка и протянул руку за лопатой.

— Спать иди, — рассердился капитан. — Завтра дороешься.

«Недалеко от пацана ушел, если о том же думаешь», — сказал себе, спускаясь к мосту. — Чтоб духа твоего тут до утра не было! — крикнул, оборачиваясь. Гошка понуро поплёлся назад.

Мост был старый, сделанный, видно, на совесть, потому что перила не качались, настил не прыгал и нога ступала спокойно. Второй мост, железнодорожный, точно, как по карте, чернел на полтора километра левее, а впереди входила в лесок уже не асфальтная, а мощеная дорога. На карте Гаврилова она и железнодорожная линия, больше не пересекаясь, каждая своим ходом упиралась километров через пять в срез, а что там дальше, ему не было ясно ни на бумаге, ни в действительности. По тому, что стояла тишина, можно было считать, что немцы километров на сто, может, на сто пятьдесят, но по тому, что станция была разворочена и пути не чинили, и по тому еще, что инженерного начальства на месте не оказалось, можно было ожидать всего самого непредвиденного.

Отсутствие инженерного начальства тревожило его не так, как разбомбленная станция. «Инженеры — известные разгильдяи, — вспомнил он фортификатора их полка, прыщавого, плохо выбритого никудышнего парня, от которого вечно несло потом и перегаром. Только что пишутся — интеллигентные люди, а так — одни сачки... Не знаю, правда, как на гражданке...» — перебил себя, стараясь сохранять справедливость.

Но то, что станцию не чинили, то есть не гнали через нее снаряды и резервы, — словом, то, что она была не нужна, само по себе наводило на мысль, что впереди не всё в полном порядке. И телефонный разговор, который два часа назад так обрадовал, выворачивался сейчас изнанкой, вовсе не веселой.

«Трепач! — вдруг разозлился Гаврилов, с резкой ночной четкостью слыша голос из трубки: «Пошлют за тобой платформы! Платформы либо фортификаторов!» Балабой! — сплюнул капитан, углубляясь на том берегу в лес. — Насажают всяких... Не знает, а бубнит. Сюда бы тебя, обещальщика».

И вдруг он с печалью вспомнил, что тот, на московском конце провода, не назвал ему своей фамилии.

«И квитанции не взял... — сгорбившись, подумал Гаврилов. — Вот не повезло...» — боролся он с подступавшим отчаянием, шагая через пустой лес. — Заберите женщин, дайте хоть взвод, хоть отделение... — бормотал, забывая о простреленном легком и раненой ноге. — А женщин куда, если вдруг немцы?! — сказал вслух и вспомнил, что под шинелью на нем старая, еще политруковских времен гимнастёрка, на которой ясно видны следы споротых звездочек. (Командирскую — распорол в медсанбате, куда его притащили на закорках, чтоб не затекло легкое.)

«Симка всякое барахло берегла! — впервые за время разлуки подумал о жене злобно. — Ну, а капитану в плен можно? — перебил себя, как бы выгораживая Серафиму. — Капитану тоже нельзя. Даже студенту нельзя... Вот и получается: бросать женщин — трус, а не бросать — изменник родины. Нет больше горя, а заодно и беды, чем девками командовать! — сплюнул он в сердцах. — Нет, есть... Ранеными. Ранеными тяжелее», — и, представив себе, что вместо женщин в церкви сейчас лежат ребята из отделения тяжелораненых, понемногу начал успокаиваться.

— Всегда кому-нибудь найдется хуже, — сказал громко, чувствуя, что уже берет себя в руки. — У меня две обоймы и у студента на поясе подсумки. Вот и хватит, — закончил, чтобы уже не возвращаться к этой теме.

«Ну, не паникуй, — снова мысленно оборвал себя. — Может и нужны траншеи. Раз послали — значит, нужны. А с инженерами просто напутали. И брось думать про «семь врагу — себе восьмую». Они знают, что к чему...» — возвратился думой к своим новым московским начальникам.

Позавчера на инструктаже, куда он прибыл прямо из госпиталя, в ответ на его просьбу послать в полк ему резко ответили:

— Тут тоже передовая.

Он тогда обиделся, подумав, что слово передовая штатский Тожанов употребил в смысле — ударная, или стахановская, как обычно придавали это название бригаде или стройке. Но теперь Гаврилов склонялся к мысли, что штатский Тожанов чего-то знал, когда два дня назад отрезал, что Москва — тоже фронт. С этим воспоминанием капитану стало горько, но в то же время и спокойно.

Поглядев на часы, он увидел, что шагает уже восемнадцать минут, а два километра дороги ничего не прибавили к тишине. В лесу даже было тише, чем возле церкви.

«Всей страны не облазишь, так пусть хоть студент поспит», — вздохнул Гаврилов и повернул назад. Сам он решил прилечь перед рассветом, когда женщины начнут копку и чуть потеплеет.

Гошка, обиженный капитаном, в церковь не вернулся, а, выждав, пока тот перейдет мост, спустился к реке. Тут, зацепившись в темноте за камень, он упал, ушибся и, набрав воды в левый ботинок, нематерно выругался.

— Ой! — плеснуло в реке что-то белое.

— Стой! Кто идет?! — не успев испугаться, крикнул в темноту Гошка.

— Отвернитесь, пожалуйста, — жалобно пропел голос, и Гошка догадался, что это — рыжая Лия.

— Извините, — промычал он.

«Бедная, барахтается в осенней воде... Надо будет завтра взять ее на свой окоп. Пусть слегка ковыряется, бруствер подравнивает», — важно думал Гошка, чувствуя себя заботливым командиром.

Он сошел с бугра и обошел церковь. Водитель, распахнув дверцу, дымил, высунув из кабины длинные ноги.

— Разрешите прикурить, — бодро сказал Гошка, не за тем, чтоб сэкономить спичку, а ради разговора.

— Мал еще — расти не будешь, — наставительно произнес шофёр, но прикурить дал. Ему тоже было тревожно, прямо сказать — страшновато, одному, без капитана, с тремя сотнями спавших без задних ног женщин. Без них он бы не боялся. Один он бы запросто переехал мост и летел бы по той стороне. В руках — баранка, над головой, на стенке кабины, пристроен карабин, и в под сумках обойм тоже хватает. Он уже два года был в армии, но ни дня на фронте и, не видя смерти, не боялся ее. Но сейчас, оставшись один с уснувшими в церкви женщинами, он чувствовал себя неладно, так же, как капитан за рекой, опасаясь той неясности, какая может получиться, если вдруг появятся немецкие танки: женщин не защитишь, и бросать их тоже нельзя. А если увидят, что женщины с тобой, вооруженным красноармейцем, сочтут их уже не бабами, а мобилизованными, и могут поступить соответственно...

— Садись, раз уж дымишь, — милостиво разрешил Гошке, подвигаясь внутрь кабины. — С какой улицы будешь?

Как все москвичи недавние, студент любил поражать коренных жителей своим знанием столицы. Это заглушало тоску по дому и Транспортному институту,

где дали проучиться всего два месяца. Знание Москвы позволяло считать, что ему еще повезло, потому что шофёрить больше похоже на работу, чем на военную службу, которую он, как все городские ребята, в мирное время не больно жаловал.

— Площадь Ногина знаете? — ответил Гошка.

— Знаю. ЦК рядом. А мой Харьков сдали. Слышал?

— Да, — понимающе кивнул Гошка и, сколько нужно помедлив, вежливо спросил:

— Родные остались?

— Нет, двоюродные только. Родные выехали. Но всё равно жалко. Город жалко. В Харькове был?

— Не приходилось, — скромно ответил Гошка, который не выезжал дальше Клязьмы.

— Хороший город, — и вдруг, намолчавшись за день, он в темноте кабины высказал то, чего никогда бы не посмел днем: — Ну как, пустите немца?

— На турецкую пасху!

— Да, — хмыкнул студент. — А как ты его непустишь?

«Пораженец какой-то», — подумал Гошка, не зная, вылезать ему из кабины или оставаться и ждать капитана.

— У нас всегда так! Как глотку драть, пожалуйста... малой кровью и прочее, а как до дела... А, да что там!.. Обстановка очень тревожная, — добавил студент печально.

— Это понятно, — согласился Гошка.

— Ничего тебе не понятно, — обнял вдруг его водитель, и Гошка вновь не знал, радоваться ли этой ласке красноармейца или отпихнуть его от себя как труса и паникёра,

— Ничего тебе, пацан, не понятно. И мне тоже. Ну, много нарыл? — вдруг оборвал шофёр свое нытье.

— Вот до сих пор, — рубанул Гошка по колену.

— Ты не очень вкалывай. Силёнки завтра пригодятся.

— Оружие привезут?!

— Какое еще оружие? Вагоны придут за вами — в Москву увозить. А скорей — и не придут, а придется пешим топтать. Так что копать — копай, да не укапывайся.

— Неправда! — отодвинулся Гошка. — За это, знаете, что полагается!?

— Тьфу, дурак! Или паникёром считаешь? Беги, докладывай.

— Ничего не считаю... Только Москву не сдадим.

— Я не про Москву, я про тебя, — сплюнул студент. Привезли вас, а начальство где? Где фортификаторы? Этот колобок в брезенте, что ли, фортификатор? Так он последний раз при Потёмкине землю копал, и то, наверно, под гальюн. Ты зачем, думаешь, мы с капитаном за двадцать километров сейчас жарили? В Москву звонили! В общем, ничего, не тоскуй! Я тебе завтра немного подмогну. Тебе в плен попадать нельзя, не женщина.

— А вам?

— А мне что? У меня — карабин, у капитана — «ТТ». Нас не возьмешь, — как-то очень просто сказал водитель, и Гошка вернул ему доверие.

— Только ты... это, ну, в общем, держи при себе. Я тебе по-мужскому... Понятно? — вдруг смутился шофёр.

— Могила, — сказал Гошка. «А он, кажется, ничего. Нервный только. Но положение, действительно, очень сложное».

— Кемаришь, студент? — донесся голос Гаврилова. — Можешь на боковую.

— Ну как, товарищ капитан? — бодро крикнул водитель. — Сыпь отсюда, — прошипел Гошке.

— Тихо. Полный порядок. А ты чего не спишь? — напустился Гаврилов на недомерка. Как все командиры,

он не выносил слоняющихся без дела бойцов. — Думаешь, «Артек» здесь?

— В «Артеке» их брата жучат! — насмешливо брякнул студент, сразу как бы отрубая от себя допризывника, которому только минуту назад выкладывал ночные страхи. — А вы когда поспите, товарищ капитан?

— Утром, — сказал Гаврилов. — Утром сны лучше.

9

Лия сидела под мостом, никак не решаясь раздеться и залезть в страшную воду. Перед ужином она, как большинство окопниц, только наспех вымыла руки и сполоснула лицо, надеясь замотать обряд вечернего обтирания. «Нехорошо выделяться», — отговаривалась она. «Пропадете, девочка», — спорил с ней печальный голос Елены Федотовны, рослой дамы из квартиры напротив. «Нет, нельзя мне выделяться...» — снова повторила перед ужином Лия, и Елена Федотовна ничего тогда не сказала.

Но сейчас, на пустом берегу она, невидимо склоняясь над Лией, резким и горьким (как тогда в лифте!) голосом прошептала:

— Больше нам надеяться не на кого!

И Лия сняла пальто и стала расшнуровывать ненавистные мамины ботинки.

Тогда в лифте, в пору папиных неприятностей, Лия, вся обвязанная платками, в гриппу, кашляя и сморкаясь, не успела вовремя отвернуться и обрызгала эту длинную и нескладную, недавно переехавшую в их дом женщину.

— Ой, извините, извините! — отвернувшись к стенке, чихала Лия.

— Ничего, девочка, — ответила женщина. — Я вас знаю, — добавила со значением. — Вам надо умываться ледяной водой. Ледяная вода и гимнастика. Больше

нам надеяться не на кого, — сказала странная женщина и первой вышла из лифта.

Потом, когда Лия не раз обдумывала эти слова, они часто казались ей оскорбительными, потому что папа был всё-таки с ней, а муж несуразной дамы — неизвестно где, но в первый момент Лию обдало такой симпатией к Елене Федотовне, что она еще долго стояла на площадке и смотрела на соседнюю дверь таким взглядом, словно за ней скрылся тайный принц или Лемешев. В этом «нам» чудились Лие печаль и ласка, упрямая гордость и уважение взрослой женщины к шестнадцатилетней девчонке и даже, если хотите, обещание бескорыстной и безмолвной дружбы. И, встречая теперь Елену Федотовну, Лия всегда радостно краснела, а Елена Федотовна дружески ей улыбалась, и это было значительнее слов. Да и что они могли сказать друг другу, когда через болтливую Ганю Елена Федотовна знала всё о Лиинной семье, и Лия тоже кое-что знала о несчастной женщине, но не хотела быть назойливой и беречь незажившую рану. Дочке Елены Федотовны, очкастенькой Карине, Лия тоже сначала улыбалась, но та в ответ кивала как-то надменно, а однажды в лифте, думая, что Лие не видно в боковое зеркало, высунула язык. Но Лия почти не обиделась, понимая, что Карина еще ребенок и что, несмотря на все старания Елены Федотовны, у нее очень нелегкое детство.

— Бр-р-рр! — ступила Лия в ледяную воду, только силой отчаяния не выскакивая обратно. — Бр-рр! — тряслась она. Казалось, острые ледышки разрезают ноги у щиколоток. — Надо, — вздохнула она, заходя в речку по колено и стаскивая через голову свитер и юбку.

Плечам и спине было уже не так холодно, как ногам, и Лия, с неприкрытой злобой глядя на свои ключицы и маленькие груди, стала нещадно их растирать.

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— А мне, действительно, очень помогло, — робея, сказала она год назад Елене Федотовне, когда они снова столкнулись в лифте.

— Да. Я вас поздравляю, — кивнула та, забывая о ледяной воде и полагая, что речь идет о восстановленном главе семьи. — Теперь вы сможете опять учиться.

— Не знаю... Мама очень нездорова...

— Простите, — **резко сказала** соседка, и Лия поняла, что та считает Лииноного отца бесчувственным человеком.

«Конечно, ей обидно, — подумала тогда Лия. — У такой хорошей женщины оказался такой муж... Но, может быть, он не злодей, а просто очень нестойкий человек, и воспользовались его бесхарактерностью. Мужчины часто бывают такими слабыми...»

— Ой! — вскрикнула, увидев поскользнувшегося Гошку.

Тот скромно ушел.

«Деликатный», — подумала Лия, но не о Гошке, а о красавце Викторе, с которым Санька познакомилась летом в Парке культуры.

«Вот тебе, вот тебе! — снова стала она тереть, теперь уже полотенцем, свое тощее тело. — Да, не Рио-де-Жанейро!» — повторила она про себя с горечью.

И теперь увидела последний предвоенный понедельник, точнее вечер его, с той самой минуты, когда зазвонил телефон.

— Меня! — выпорхнула Санька из комнаты. — Лию?! — удивился в коридоре ее голос. — А кто требует? — Санькино сопрано, казалось, вспархивало до потолка и оттуда тройным сальто или ястребком в мертвой петле опускалось в телефонную трубку. — Так это я, Александра. Не узнали? — разливалась Санька в коридоре, вовсе не собираясь звать Лию. — Ждите у Дзержинского! Я в две минуты! — крикнула Санька и тут же влетела в комнату.

— Подруга, возьму «летчика», — порылась она в Лином кошельке и вынула пятерку. — Вдруг он портвейн пьет. Ты пока приберись тут маленько! — и, схватив Лиину сумку (вот эту самую, общую сейчас на двоих, где были хлеб, документы и полотенца), выскочила из квартиры.

Через сорок минут Виктор позвонил три раза, и Лия, пугаясь Санькиной матери-дворничихи и Гани, которая чаще околачивалась в их квартире, чем у соседей, открыла дверь.

— Простите, что я так, — развел студент пустыми руками. — Но я, действительно, не собирался в гости.

Лия стояла перед ним, нерешительная и маленькая, и ее робость передавалась ему.

— Вот сюда, — наконец выдавила она и повела студента в комнату, но дверь прикрывала за собой не до конца. — Санюра сейчас вернется.

Она это сказала просто потому, что надо было что-то сказать, и тут же покраснела. Выходило, что она сама понимает и заранее согласна, что молодой человек пришел не к ним обеим, а только к Саньке.

— Да, она мне сказала, — тоже краснея, кивнул студент. Он теперь уже сам не знал, к кому пришел, и ему было неловко.

Санька влетела хлопотливая, шумная, смущение в ней не ночевало.

— Чайник ставила? Сейчас. В один момент, — щебетала, словно не впервые, а всю жизнь угощала у себя молодых людей.

— Да я не голоден, — смутился Виктор.

— Причем тут голод?! — шумела Санька, выставя на стол из сумки бутылку портвейна, коробку килек и свертки по двести граммов колбасы и сыра.

Лия покорно пошла кипятить чайник.

— Вó дает! Мать схоронить не успела, — встретила ее на кухне Ганя, которая по случаю интересного гостя не торопилась на свою Икшу.

— Александру гони, — буркнула Санькина мать.

— Мать зовет, — сказала Лия, возвращаясь в комнату.

— Вот на мою голову! — хохотнула Санька. — Вы тут не скучайте — я разом!

— Шумная она у вас, — улыбнулся Виктор.

— Хорошая, — поправила его Лия, стараясь не сердиться и не завидовать подруге.

— Вместе живете?

— Нет. То есть — да... Санюра — у меня. Временно... Она очень много за мамой ухаживала... — объяснила Лия и, вспыхнув, добавила: — Мама уже умерла, — чтобы молодой человек не подумал, что Санька что-то вроде сиделки или домработницы.

Он кивнул. У него было хорошее лицо, не только красивое, но еще очень интеллигентное. Лие захотелось просто с ним посидеть — побеседовать, но она не знала, как начать разговор, боялась быть назойливой и, понимая, что сейчас вбежит подруга, с прежней глупостью повторяла:

— Санюра сейчас вернется.

— Ой, беда со старыми! — влетела в комнату Санька. — А ты чего? Хлеб не нарезан, консервы не открыла. Ой, подруга! Да не робей, не съест он тебя. Наш ведь, московский.

— Я из Саратова, — сказал студент.

— А непохоже! Вы не окаете. Ну, раз в Москве, всё равно московский. Нате, орудуйте! Мужское занятие! — Она протянула ему консервный нож.

Лия трижды чокнулась с ними, но в рюмку свою доливать вина не позволяла и всё порывалась уйти.

— погоди, мамаша ляжет, тогда... — каждый раз шёпотом отвечала Санька. Наконец радио договорило свои последние известия, включило площадь с боем часов, и Лия, взяв с этажерки толстую тетрадь и учебник физики, тихо вышла на кухню. Тетя Ганя, слава Богу, уже отбыла на свою Икшу, и квартира спала. Лия

прикрыла дверь, зажгла нещедрый кухонный свет и села к своему столу. «Правило правой руки — стержень и обмотка...» — пыталась сосредоточиться она, но законы магнитной индукции никак не шли в голову, потому что мысли волей-неволей отрывались от учебника и на цыпочках пробирались назад, в комнату, где сейчас должно было произойти нечто великое и тайное.

«Если правую руку повернуть вдоль стержня, то четыре пальца укажут направление электрического тока в катушке...» — Ничего не понимаю, — глушила она себя физикой. — А если будет ребенок? Очень красивый будет ребенок, — сказала она совсем громко. И вдруг открылась дверь, и Санькина мать стала ругать Лию, что та жжёт «общую энергию».

— На чужбинку, на даровщинку... А ну спать иди!

— Не пойду, — твердо сказала Лия.

— Как так? Да я тебя силком поведу! Думаешь, потвоему будет! — И дворничиха потащила Лию в коридор. — Ой, да тут заперто! Санька, чего заперлась? Открой! — забарабанила в дверь.

Скандал вышел невообразимый. Соседи немедленно вылезли из своих комнат. Пьяный Санькин родитель, управдом, открыв рот, бессмысленно глядел, как Санька оттесняла мать, пропуская испуганного студента к входной двери.

— Спортил девку! — кричала дворничиха, дубася дочь.

— Тихо, мамаша! Людей постесняйтесь! — шипела Санька.

— Спать надо, — ворчали соседи, но почему-то не расходились.

— А ты тоже хороша, — напустилась на Лию Санька. — На кухне примостилась. Я за твоей каргой сколько ходила, а ты уж ночи не могла переждать на Курском! Сволочь, вот ты кто, — и, забрав свою постель и платья из шифоньера, покинула Лиину комнату.

Лия проплакала до рассвета, понимая, что Санюра права, но эта «карга» не позволяла ей мириться первой. А через два дня пьяный управдом, который уже привык, что дочь живет отдельно, поругавшись с Санькой, устроил Лие безобразный скандал. Грозился отнять комнату, а затем спьяну начал приставать, и Санька, два раза нешуточно съездив отца по спине и шее, помирилась с Лией и простила ей всё. И Лия тоже простила. Они всхлипывали, обнявшись, и разомлевшая Лия, наконец, спросила:

— А не боишься, что будет ребенок?

На что Санька шутливо махнула рукой: мол, волков бояться... и улыбка у неё при этом была лукавой и гордой, хотя студент (Лия это знала почти наверняка) больше Санюре не звонил.

10

«Да, жизнь — это борьба!» — вздохнула Лия, подымаясь на бугор. Эту фразу часто повторял отец и почти всегда к месту. И, сказав ее сейчас, тоже не к месту, Лия улыбнулась и вошла в церковь. Все спали, один лишь допризывник Гошка сидел на табурете возле верстака.

— Садись, — сказал он, вытягиваясь перед Лией, которая только что вылезла — бр-р-р — из ледяной воды.

«Очень симпатичный мальчик. Как бы эгоистка Карина его не испортила», — подумала Лия, забывая, что Гошка здесь, на окопах, а Карина с матерью теперь далеко за Москвой. Ведь вчера, нет, уже позавчера утром Лия, преодолевая свою несокрушимую застенчивость, приходила к Рыжовым прощаться.

— Вы едете, и я тоже, — сказала она позавчера. — Меня берут на окопы.

— Как я вам завидую, девочка! — поднялась Елена Федотовна с полу, где тщетно пыталась обвязать двумя кашне расплзающийся чемодан.

— Мама хочет сказать, что я мешаю ее героизму, — съязвила Карина.

— Что ты, Карик? — смутилась огромная Елена Федотовна.

— Я вас очень люблю и уважаю, — снова повернулась она к Лие. — Берегите себя, пожалуйста.

— Я хотела на фронт. Не взяли. Может быть, с окопов удастся...

— Да, я вас понимаю, девочка. Только берегите себя, пожалуйста. Дайте хоть перекрещу.

— Мама! — крикнула Карина.

— Я неверующая, — тихо сказала Лия. Ей было неловко.

— Да. Я знаю. Я тоже неверующая. Но на кого же еще надеяться? — Она неловко перекрестила Лию.

— Не бойтесь, — шепнула, — Христос — для всех. Только оставайтесь живы, родная моя...

— Вам не холодно? — спросил Гошка, с любопытством глядя на рыжую девушку.

— Нет, что вы! Это так взбадривает. Мне Елена Федотовна посоветовала, — как бы извиняясь за то, что она одна полезла в октябрьскую речку, ответила Лия. — А Рина, наверно, уже в дороге, — поторопилась тут же перевести разговор.

— Наверно, — согласился Гошка. — А вы спать не будете?

— Не знаю. Боюсь, не засну...

«Бедная», — подумал он, а вслух сказал: — У меня тоже бессонница.

— Это потому, что очень много впечатлений, — сказала Лия. — Как вы думаете, завтра мы много выроем?

— Посмотрим. Положение очень тревожное.

— Представляю.

— Вы хранить военную тайну умеете? — вдруг брякнул Гошка, весь распираемый услышанным от шофёра.

— Не знаю. Мне никогда еще не доверяли.

— А слово дать можете? — вскрикнул с досадой, боясь, что еще немного и он выложит ей военные секреты, не получив никаких заверений.

— Могу, — улыбнулась Лия. — Могу комсомольское. Хотите?

— Хорошо, — обрадовался он. — Положение очень сложное. Возможно, уходить придется.

— Как? — недоуменно шепнула Лия.

— Скорее всего пешком, — прервал он вопрос. — Обещали вагоны, но придут вряд ли.

— Извините, но это неправда. Не сердитесь, но я не верю. Откуда вы знаете?

— Знаю.

— Вам капитан сказал?

— Это неважно. Только не думайте, что я трус.

— Бедный, я ничего не думаю. Я только верить не могу. И почему он только вам сказал? Почему он всем не сказал? Простите, я ничего не понимаю. Гоша, ради Бога, скажите? Это шутка, да?

Они говорили шёпотом в огромной, наполненной храпом церкви, но Лие казалось, что допризывник кричит ей в ушную раковину через рупор.

— Я хотела пойти на фронт, — быстро шептала Лия, — меня не взяли. Разрешили только в госпиталь, санитаркой. Но я уже была санитаркой. Дома... — потупилась она, словно боясь обидеть покойную маму. — Я умею стрелять из винтовки, — снова с надеждой подняла голову, словно Гошка был начальником арсенала.

— Дали бы винтовку, никуда бы я не ушел, — сказал Гошка.

— И я, — вздохнула Лия.

Гошка посмотрел на нее с сомнением, но промолчал. Ему не хотелось портить такой хороший ночной

разговор. В заброшенной церкви, среди спящих женщин, только они двое бодрствуют. Горят две керосиновые лампы. В разбитое окно виден край освещенного лунной облака. Ночь стоит тихая, может быть, первая бессонная ночь за всю жизнь, если не считать нескольких ночей на крыше во время налетов. Но тогда на чердаках и крышах было полно народа, а сейчас они одни.

«Она ничего... Мужественная, — наконец подобрал подходящее слово. — Ледяной водой обливалась. Б-р-р... — задрожал от воображаемого холода. — Стрелять — не копать. Может, и вправду умеет...» — проникся к ней добрым чувством то ли из-за ее одинокости, то ли оттого, что она разговаривала с ним как со взрослым и не гнала спать. — Обстановка очень сложная, — снова повторил он, вовсе не придавая этим словам того значения, которое они имели для Лии. Несмотря на то, что немцы шли по его земле и он, вполне сносно зная географию, по сводкам Информбюро с недельным или полуторанедельным запозданием узнавал, где сейчас линия фронта, общее положение его как-то мало тревожило. Война вообще казалась ему сплошным счастьем, его личной удачей, и теперь, когда он на нее почти попал, ему не терпелось подойти к ней еще ближе, впритык, получить винтовку, ручной пулемет или «Максим» (об автомате ППШ он и не мечтал!) и делать то, что делают настоящие парни в кинофильмах. Он был неглупый мальчик и на многие вопросы мог бы ответить толково, но само его существо было пока глупее его разума, и он весь рвался туда, вперед, за реку и тишину, где весь мир в его представлении стреляет, тарыхтит, рвётся, горит, вспыхивает и кричит «ура!».

— Как... — вздохнула Лия, которая всё-таки была старше Гошки, но сейчас она чувствовала его таким близким, почти родным, что, пугаясь собственной смелости, выдавила:

— Как всё-таки это случилось? Мы поверили Гитлеру?..

— Дипломатическая хитрость! — отмахнулся он, пребывая всё еще в приподнятом состоянии пулеметной стрельбы и лицезрения падающих немцев с задирающимися кверху стволами винтовок.

— Нет, не говорите... Я всё-таки ничего не понимаю, — не унималась расхрабрившаяся Лия. — Я хочу помочь. Даже не помочь. Я просто обязана что-то сделать. Хорошо, пусть окопы... Но вы говорите...

— Не волнуйтесь. Немцев мы разобьем...

— Да. Я понимаю... Но ведь нельзя же сидеть без дела. Вы знаете, — она приглушила шёпот, — у моего папы были неприятности. Но я его не только утешала. Я заставляла его писать и писать заявления, и жалобы, и просьбы, и объяснения во все; какие можно, инстанции. Я ему не давала сидеть без дела. Тормошила его. Если ничего не делать, можно с ума сойти. Опуститься. Можно даже перестать умыться...

— Да, конечно, — не совсем уверенно кивнул Гошка.

— Вы знаете... Я всё время думаю: ведь нас больше... Нас в два, нет, в три раза больше, чем фашистов. Пусть один наш убьет одного фашиста и сам даже погибнет. Ведь тогда мы победим. Я сама готова погибнуть, но сначала я хочу убить одного гитлеровца.

— Они в бронеавтомобилях едут. Пуля не пробивает.

— Так что же делать? А где наши броневики? Ведь, помните, перед праздниками нас ночью будили танки?.. Помните?

— Да! Ведь мы с вами из одного дома? — вдруг неизвестно чему обрадовался Гошка. — Правда?

— Правда, — улыбнулась Лия, не понимая, что же тут удивительного, и Санюра из того же дома, и еще многие женщины.

— А вы петь любите? — спросил он, будто о самом главном.

— Люблю. Только про себя. У меня ни слуха, ни голоса.

— И у меня тоже. Я только в уме пою. Я вам сейчас спою свою любимую, а вы по глазам догадаетесь.

— Я не сумею, — улыбнулась польщенная Лия. — Я очень неспособная.

— Да нет! Вы обязательно догадаетесь. Вот смотрите! — Он сжал губы, ноздри у него растопырились и зрачки остановились. Он почти не дышал.

— Ну, — наконец спросил он, побагровев, словно тащил четырехпудовый мешок.

— Не знаю, боюсь ошибиться, — смутилась Лия. — Мне показалось, под конец как будто:

там, где кони по трупам шагают...

— Правильно! — обрадовался он. — А еще неспособная. Да вы просто ясновидец!

Гаврилов, гоня сон, бродил вокруг храма, спускался к речке, споласкивал лицо и снова, поднимаясь на бугор, обходил церковь. Шофёр, не помещаясь в кабине, спал, вытянув из нее свои огромные ноги. Сапоги на них были поновей гавриловских. Ветер то унимался, то задувал снова, и кровельное железо на церкви бормотало что-то грустное, схожее с вальсом «На сопках Маньчжурии». Гаврилов все песни пел на один мотив, выбирая слова по настроению.

«На немцев работает!» — думал сейчас он про всё сразу — и про ветер, и про погоду, и про положение, в которое не по своей воле попали и он и его страна. И вдруг, в который уже раз со злобой и огорчением глянув вверх, он увидел скользнувшее по краешку луны самолетное крыло и тут же, сквозь ветер, угадал гудение бомбардировщиков. Их, видно, было немало, потому что спустя минуту еще один прикрыл лезвие

луны. Шли они высоко, и угадать их он не мог, но летели они прямо над шоссе, и он понимал, что на Москву. С начала войны он так мало видел своих боевых машин, что каждую летящую, пока ясно не различал на ней звезды, принимал за чужую. Так было проще. Не надо было потом ругать себя за ошибку. Зато редкие исключения, когда при свете солнца или при снижении самолета ярко вспыхивала на крыльях родная звезда, были как подарок.

— Все туда прут, все на него... И мы все защищаем его, — со скорбью сказал Гаврилов, вспоминая покинутые города и в первую голову Слуцк, где осталась Сима с детьми. — Охраняют, не пустят, — повторил он, когда вдалеке ему как будто почудились частые, как удары тихого, но нервного пульса, выстрелы зениток.

«Ему с высоты виднее», — всю свою жизнь считал Гаврилов до того самого рассвета, когда их подняли в лагере по тревоге, в Слуцк проститься с жёнами не отпустили, а двинули навстречу прорвавшимся танковым соединениям врага.

И десять дней видя немцев над собой и перед собой, ждал Гаврилов слова от того, кто всё знает и насквозь видит, а Сталин молчал. И только за Днестром пришла эта речь, занявшая собой обе стороны дивизионки, и все кругом вздохнули, а Гаврилов задумался.

Встревожило его это выступление, встревожило одним, вернее тремя словами: «непобедимых армий нет». Ведь Сталин прямо и спроста ничего не говорил. Даже шесть лет назад, когда сказал надменное «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи», и то нельзя было эти слова понимать прямо и буквально, а надо было понимать их как бы наперед, то есть что придет время и действительно будет лучше и посчастливей.

И, привыкнув принимать каждое верховное слово как программу на будущее, Гаврилов прочитал фразу о непобедимых армиях, рассчитанную на душевный

подъем и уверенность в победе, как намек, что может обернуться по-всякому.

Дело было поздним вечером. Он вышел из избы, кликнул командира первой роты и приказал окапываться.

— Люди устали... Да и место такое... — попробовал отговорить Гаврилова старший лейтенант.

— Пули захотел? — гробовым шёпотом спросил капитан, и комроты — один, не узнав своего комбата, вдруг по-другому взглянул на себя, страну и положение на фронте.

Место и впрямь было ровным и голым. Танки их смяли в первые полчаса, и Гаврилову, который забыл в самом начале боя, что он уже не политрук, а комбат, и выскочил на бруствер с пистолетом и еще привычным с манёвров возгласом «За Родину, за Сталина!», очередью из немецкого танка прострелили легкое и два раза ногу.

Вспомнив сейчас о том июльском утре, он снова поглядел на небо. Самолетов уже не было, но ему и без них стало тоскливо и холодно. Он пошел в церковь наскрести в каком-нибудь ведре кашу: вдруг не совсем остыла. У верстака, спиной к капитану, сидела какая-то девчонка в пальто, а напротив нее, привалясь к верстаку, стоял паренёк, который показывал капитану окоп. Паренёк глядел на девчонку и капитана не видел. Сначала Гаврилов подумал, что они играют в гляделки, потому что лицо у паренька так напряглось, что, казалось, вот-вот лопнет. Но потом девчонка сказала какие-то стихи про лошадей и мертвых, и капитан, догадавшись, что у них не любовь, а одно баловство, погнался их спать.

Утром женщины вынесли из церкви ведра, отскребали их от вчерашней каши и начали варить новую. Из деревни пришел чисто выбритый («как новенький!» —

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

подумал капитан, пробуя свою, второго дня щетину) старичок Михаил Федорович.

— Какие будут указания? Вы в Москву дозвонились? — торжественно замер он перед капитаном, только что руку не протянул к картузу.

— Указание одно — рыть. Ночью два раза самолеты пролетали, — сбавил голос Гаврилов. — Рыть надо, отец.

Голос капитана как-то не вязался с настроением старичка, и тот, не сдаваясь, напомнил про ежи.

— Мои помощники вчера нарезали немного. Сейчас сваривать начнут. Откуда прикажете первые ставить?

— Это напоследок. Не убегут, — отмахнулся Гаврилов. — Рельс вообще не совсем то... Балка нужна. Ну да ладно. Всё будет хорошо, отец, — сказал, чтоб хоть как-нибудь закончить разговор. — А меня простите. Две ночи не спал.

Студент, оставшись за капитана, побаловался печёной картошкой, похлебал прямо из ведра кипящей каши и до следующей кормежки изнывал от безделья. Он уже три раза взад и вперед обошел будущую позицию, держась на дистанции от бойких девчонок, которые, отрываясь от копки, то и дело задирали его:

— Давай, подмогни!

— Иди, погреемся!

— Не холостуй, парень! — и в том же духе. Будь их две или на крайний случай три, он бы нашел, как отшутиться, но такая прорва не манила, а скорей отпугивала. Поэтому с серьезным и мрачным лицом вышагивал он рядом с маленьким Михаилом Федоровичем, который с утра сиял, как жених или именинник.

— Мы потом соединим окопы. Получатся хорошие хода сообщения. А завтра можно будет и землянок нарыть. Шпалы теперь без дела остались. Уложим их накатом.

— Шпалы коротки, — отрезал студент. Суеязящий старичок порядком его раздражал.

— А ежи вы не видели? — хвалился тот через минуту. — Вот извольте, — и тащил водителя через дорогу, где в кювете лежали сваренные двухметровые обрезаки рельса.

— Мы по три соединяли. Думаете, достаточно? По четыре ребятам труднозато везти на тачке, — весело оправдывался старичок.

— Сойдет, — зевнул студент.

— Балка бы, конечно, лучше против танков. Но где ее взять? Приходится ограничиваться подручными средствами.

— Угу, — кивнул студент.

— Я уже докладывал товарищу капитану, — не унимался Михаил Федорович, — что считаю необходимым взорвать железнодорожный мост. Станция всё равно разбита, и движение на запад не производится. А при наличии моста немцы нам могут зайти с фланга.

— Женщинам, что ли? — съязвил студент.

— Простите, оговорился. Я имел в виду красноармейцев, которые займут наши позиции.

Михаил Федорович не хотел терять ни капли воодушевления.

— Они сами и подорвут, — ответил студент, вовсе не желая думать о том, что кто-то будет занимать эти траншеи, а тем более взрывать на их левом фланге железнодорожный мост.

«Может, капитана разбудить. Поест, что ли», — убеждал себя, прекрасно понимая, что будить две ночи не спавшего человека не стоит даже ради еды. Тем более, что у капитана прострелено легкое, и ночью ему спать на холодном полу или на сквозняке — верная смерть.

— Я вас понимаю, товарищ боец, — не унимался старичок. — Очень уж их много и слушаются плохо, — кивнул на копающих женщин. — Вот разве что эти

утихомирят, — и он ткнул рукой в сторону леса, высоко над которым летело три звена самолетов.

— Эти не для них, — скривился студент.

— Наши? — обрадовался старичок, но студент не ответил. Молодым зрением он сразу угадал в летящих машинах «Юнкерсов-87». Точно такие летели в ту сторону два часа назад, когда он, наворачивая кашу, случайно задрал голову. Те шли очень высоко и возвращались, видимо, на той же высоте, потому что возвращение их он прозевал, а в то, что их всех сбили, верить при всём желании не мог. Нынешние шли ниже, так что даже были видны очкастому старичку, но крестов на их крыльях он, слава Богу, не разглядел. Женщины тоже не обратили на них особого внимания, только две или три, прикрывшись ладонью от неяркого солнца, на минуту задрали головы, а потом опять взялись за лопаты.

— Денёк, а? — вздохнул старик. — Прямо бабье лето с опозданием!

— Фрицевское скорей.

— Не волнуйтесь, товарищ военный, — успокоил старичок. — После такой случайной теплыни сразу крупа начинается, а то и нешуточным снежком посыплет. Помёрзнут немчики.

— И женщины не согреются, — ответил студент и пошел к церкви.

«Может, проснулся уже?» — надеялся он, но капитан спал, наглухо закрыв дверцы кабины. Через спущенное всего на два пальца, заляпанное грязью стекло было видно, как неловко ему спится: портупья была не расстегнута, а только ослаблена на три дырки, и глаза прикрыты фуражкой.

Студент снова пошел к костру и попил с поварихами чаю. Они почти все были пожилые, годились ему в матери, и он их не так стеснялся. У некоторых на фронте были сыновья.

— От моего третью неделю ничего... — вздыхала одна.

— И от моего...

— И мой не пишет.

— А ты такого не встречал? — снова называя имена и фамилия, приставали они к шоферу, и когда он в который раз объяснял, что на фронте еще не был, потому что прикреплен к московской обороне, они как будто не завидовали, а радовались за него, что он не в «самом пекле».

— Еще попей, парень!

— Чай не водка, много не выпьет.

— Непьющий. Лицо чистое.

— Спасибо, — сказал он и после третьей кружки, осмелев и махнув рукой на хаханьки окопниц, поплелся на бугор к допризывнику Гошке.

Вообще-то ему хотелось пойти дальше бугра, к железнодорожной насыпи, где траншеи рыли молодые девчонки, судя по всему студентки. Он давно их замечал, потому что они держались вместе, то ли были из одного института, то ли им просто было друг с другом веселее, проще и свободней, но они держались бодрой стайкой и не обращали на водителя никакого внимания. Ему хотелось к ним подойти, но он робел и потому остановился возле Гошки.

Тот уже с головой торчал в своем окопчике, а над ним, на бруствере, шуровала землю рыжеволосая девушка в куцем пальто и рыжих высоких ботинках, на которые из-под юбки были спущены синие лыжные шаровары.

— Хороший отгрохали? — крикнул из глубины Гошка, и вечный скептик студент, чтоб не обижать рыженькую, согласно кивнул головой. Уж больно она была некрасивая, с ржаными ресницами и огромными веснушками, но была в ней такая забитость или растерянность, что говорить с ней жестко было всё равно, что не уважать себя.

— Чего засмотрелся? — крикнула ему в спину Санька. — Мы тут тоже даем угля.

— Вас зовут, — смущенно сказала Лия.

— Потерпят, — отмахнулся он. — Давайте покажу вам, как... — взял у нее лопату. — А вы не стесняйтесь, рукавицы наденьте, — сказал тише, словно сразу разгадал Лиину сущность. Она, понятно, вся вспыхнула и с ненавистью поглядела на свои маленькие ладони с большими белыми волдырями.

— Эй, шофёр, я тоже не знаю! Поучи! — кричала Санька из траншеи.

— И чего они гневных любят? — вздыхала рядом Ганя. — И Кланька моя с гнедком.

«Ну и попал! — заливаясь краской, студент подравнивал бруствер. — И не уйдешь теперь — девчонку жалко. Совсем заклуют».

— Понимаю, понимаю. Теперь я сама, — извинялась над окопом Лия.

— Ничего, — басил студент. — Еще нароется.

— Значит, останемся здесь?! — поднял голову Гошка.

— Тихо! — вскипел студент и показал из-за спины кулак.

— Ясно! Могила! — пролепетал Гошка и тут же глянул на Лию зверскими глазами. Но студент перехватил взгляд и понял, что сопляк проговорился.

Девушка тоже подняла голову и улыбнулась студенту, как бы желая сказать: совсем не страшно, что она знает — ведь она никому не передаст; и студент, как бы признаваясь в своей болтливости и укоряя себя, хлопнул рыженькую по плечу, но не как-нибудь, а как друга, и она это поняла.

«Эх, не поговоришь тут!» — досадливо оглядел он берег и склон бугра. От моста до моста и чуть дальше за шоссе шла скорая работа. Женщины, как в трясине,

тонули в земле, и некоторые уже уходили в нее по плечи и шею.

— Этот окоп хватит! — сказал студент. — Давайте начинать другой.

— Давайте, — кивнула Лия.

Она тоскливо смотрела на молодого человека, не решаясь верить, что чем-то приглянулась ему. «Просто нужно где-нибудь рыть. Вот и помогает. Тем более, я тут самая безрукая», — ответила своим горячим от волдырей ладоням, нывшим под жесткими рукавицами. «Но он очень милый. Понятливый. Наверно, тонкой душевной организации. Даже чем-то похож на Виктора. Только Виктор...» — и она, не додумав, вспомнила то, чего не знала махавшая сейчас киркой подруга.

На шестой день войны, когда Санька с матерью пошли провожать мобилизованного отца, в коридоре снова зазвенел телефон:

— Лия, это злополучный Виктор.

— Сани нет дома, — сухо ответила она.

— Лия, мне надо вас... Вы знаете клуб камвольной фабрики? Это надо на «букашке». Только приходите одна.

— Хорошо, — сказала Лия, поняв, что его взяли в армию.

И когда назавтра он, странно преобразившийся в непригнанной гимнастерке, галифе, в ботинках и обмотках, шептал, хватая ее за руки и жадно глядя в лицо, что она сразу произвела на него впечатление и что он ее смущался, а Саня такая разбитная и ловкая, и всё такое, Лия слушала его, не отводя лица, слушала и не верила ему. И когда на прощание он стал ее целовать, она не отворачивала головы, но всё равно ему не верила. Все мужчины такие слабые: и этот тоже слабый, хотя и честный мальчик. Он был виноват перед ней и перед Санюрой, чувствовал это, желал оправдаться и поэтому, несмотря на свою честность, врал еще больше. Нет, она

не была ему нужна. Просто из суеверия он хотел, чтобы кто-то его проводил туда, где бомбы, пули, снаряды, где смерть... А Санюру он позвать не мог, ему было перед ней совсем стыдно.

— Я тебе буду писать, — сказал Виктор.

— Хорошо, — кивнула она, надеясь, что тоскливая минута прощания быстро позабудется и он не напишет. Потому что, если Санюра найдет в ящике письмо, могут опять начаться страшные недоразумения. Тем более, Санькин отец, которому Лия после повестки всё простила, ушел на войну, а Лиин папа, хоть и не жалеет себя на ответственном военном строительстве, все-таки не подвергается каждое мгновение смерти.

И теперь, глядя на шофёра, она скорее огорчалась, чем радовалась его вниманию и заботливости.

— Стоп! Без меня тут... — вдруг крикнул он и, выпрыгнув из неглубокого, только начатого окопа, побежал по склону к мосту.

— Откуда!? — кричал он на бегу.

Лия увидела, что на том берегу из леса выскочили навстречу водителю два бойца в ужасно грязных, прямо-таки чёрных шинелях. «А вдруг переодетые немцы?!» — со страхом подумала, глядя на их запачканные, вывернутые наизнанку и натянутые на уши пилотки. Но первый из бежавших бойцов уже обнимал водителя. Потом его обнял второй боец, и они, привалясь к перилам моста, снова стали весело обнимать шофёра. Тот в неновой, вспотевшей под мышками гимнастёрке казался щёголем рядом с измученными, небритыми, грязными красноармейцами. Но было видно, что они ему ужасно рады. Потом бойцы побежали на ту сторону в лес, а водитель побежал назад по мосту, взлетел к ним на бугор, схватил шинель и, на ходу застегиваясь и не отвечая на молчаливые Гошкины взгляды, помчался к церкви, наверно, будить капитана.

Спросонья Гаврилову почудилось, что случилось самое страшное. Над ним нависло перекошенное злобой лицо. К тому же лицо было перевернуто так, что звездочка на меховой шапке оказалась ниже высунувшихся из-за ворота белого тулупа петлиц.

«Где я промахнулся?» — прозвенело в полусонном мозгу.

Он поднял голову, достал упавшую на пол кабины фуражку и не торопясь выбрался наружу. Перед ним стоял молодцеватый лейтенант в новеньком овчинном полушубке с новым автоматом на белой груди. Кубари, правда, успели спрятаться под мех, но Гаврилов еще лёжа заметил, что их на каждой петлице по два.

— Спишь? — спросил лейтенант ровным медленным голосом.

— А что? Нельзя?! — так же злобно ответил Гаврилов. Теперь он видел, что лейтенант один — за его спиной прислонился к церкви мотоцикл ИЖ-8 без коляски.

«Вот чистюля! Удобства признает!» — подумал капитан, завидуя сразу полушубку, ушанке, новенькому ППШ, а всего больше мотоциклу. «Тебе бы еще перину!» — усмехнулся Гаврилов. В шагах пяти от лейтенанта стояла Марья Ивановна.

«Унюхала», — подумал капитан.

— Ну? — сказал вслух.

— Что — ну! — разозлился мотоциклист. — Немцы где?

— А это ты мне доложи, — нарочно зевнул Гаврилов, твердо уже понимая, что лейтенант приехал не за ним. — Ты бы ему сказала, а то будят зря, — повернулся к Марье Ивановне.

— А что мне?! — отгрызнулась та.

— Где противник, капитан? — медленно повторил лейтенант.

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— Я тебе не капитан, а товарищ капитан! Понял? — побледнел Гаврилов, ловя, как в прицеле, брезгливую ухмылку уполномоченной. — А ну — руки по швам и стать, как положено...

— Ладно, не психуй, — сбавил тон мотоциклист.

— Откуда едете?

— Откуда надо. Я вам не подчинённый.

— А не подчинённый, так бери свою керосинку и дуй отсюда к Матрёне, — снова зевнул Гаврилов, считая, что парень в овчине цены сбавил, и разговор, стало быть, окончен. Связываться с таким щёголем не больно хотелось.

— Давно вы здесь? — теперь уже просто, как все люди, спросил лейтенант.

— Вчера прибыли, — ответила вместо Гаврилова уполномоченная.

— И ничего такого не было?..

— Ничего, товарищ начальник.

— Ни немцев, ни наших?..

— Нет.

— Вот пироги, — вздохнул щеголеватый лейтенант.

— Газуй вперед, там узнаешь, — усмехнулся Гаврилов, давая понять лейтенанту, что раскусил и его растерянность, и нежелание переезжать мост. Гаврилов теперь твердо знал, что тот послан выяснить обстановку, и ему очень хотелось расспросить мотомеханизированного лейтенанта, каким начальством он послан и много ли у его начальства людей и техники, и пришлет ли оно их сюда, в эти окопы, а еще лучше дальше, за реку, но понимал, что лейтенант в новеньком дубленом полушубке ему ни черта не скажет, и потому лишь с усмешкой повторил:

— Газуй, газуй!

— Поели бы, — сердобольно протянула голос Марья Ивановна. — Горяченькая! — и пошла к костру.

— Пожалуй, — пробормотал лейтенант. Он неловко топтался перед храмом, растеряв больше половины прежнего форсу.

— Проголодался? — еще раз поглядел на него Гаврилов, но тут капитана отвлек бегущий со стороны траншеи водитель.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — кричал тот задыхаясь. — Там наши!

— Где? — вскрикнули разом Гаврилов и мотоциклист.

— Сразу за речкой... Раненые у них... Сейчас принесут... — Кинувшись к мосту, Гаврилов и лейтенант увидели на той стороне бойцов, с виду больше похожих на лесных бродяг. Шинели на них были черно-рыжие, словно ползали в них по болотам, а потом тёрлись о кору или опавшую листву. Обмоток ни у кого не было, а пилотки были у всех развернуты и натянуты на уши. Сначала появились трое, точнее двое, которые несли на каком-то куске брезента, обрывке палатки или оружейного чехла третьего красноармейца. Правая нога раненого была обмотана тоже брезентом, цветом почернее — видно, запекшимся от крови. Женщины с криком бросились на мост, опережая командиров.

— Подождем, — сурово сказал лейтенант. Капитан ничего не ответил. «Пусть командуёт, — решил про себя. — Чего высовываться? Мне женщин вон как хватает... А теперь еще раненых, как пить дать, подкинут». Из лесу вышли еще трое бойцов, тоже больше смахивающих на леших. Двое, по-видимому, были легко ранены. У одного рука была подвязана, у другого висела вдоль тела. Третий боец, обнимая их за плечи, прыгал на одной ноге. Вторая была укутана в надрезанный шинельный рукав, обмотанный телефонной проволокой. За ними еще два красноармейца несли тяжелораненого на самодельных носилках. Женщины на мосту обнимали бойцов, принимали раненых и с криком и плачем несли дальше.

— Как бы тебе, студент, не пришлось газовать в госпиталь, — тихо сказал Гаврилов.

— Платформы-то обещали... — тоже тихо отозвался водитель, как бы объясняя, что своей волей не хочет бросать здесь капитана одного с такой прорвой женщины.

— Обещанного, знаешь, три года... — вздохнул Гаврилов. — Ладно, подождем чуть. Прогрей пока мотор и проверь, чтоб всё в ажуре было.

— Ой, Господи, молоденькие...

— Надо же!

— Ироды, народ губят! — причитали женщины, не столько помогая, сколько мешая тем, кто ухватился за носилки или за край брезента, нести раненых. Некоторые крестились сами и крестили бойцов.

Красноармеец, тот, что минут пять назад выбегал навстречу водителю, еле пробился через толпу женщин и у самого края моста, забывая вывернуть пилотку, но притягивая к ней ладонь, лихо закричал:

— Товарищ майор! Старший штурмовой группы красноармеец Шкавро и десять бойцов прибыли.

Кубари у лейтенанта были под меховым воротником и поэтому, глядя на обтрепанную гавриловскую шинель, боец решил, что моложавый командир в новеньком, нигде не запачканном полушубке должен быть хоть на ранг, а всё же постарше.

— Докладывайте обстановку, — хмуро сказал мотоциклист.

— А вы ждите пока! — крикнул остальным красноармейцам, которые, отдав женщинам раненых, хотели перейти на этот берег.

Красноармеец Шкавро замялся, видно, ожидал другой встречи.

— Командиры где? — спросил лейтенант.

— Нету, — потупился боец.

— Как? — вскипел лейтенант.

«Умеешь...» — вздохнул про себя Гаврилов, но пока сдержался.

— Убитые, — сказал красноармеец.

— Откуда вы? — зло спросил мотоциклист.

— Оттуда, — махнул боец рукой в сторону леса.

— В церкви положите пока, — сказал Гаврилов женщинам, которые проносили мимо него раненых.

— Вижу, что не из Москвы! — надрывал голос лейтенант. — Из лесу? Из окружения?! Беглецы?!

— Да погоди! — перебил лейтенанта Гаврилов. «И чего лезу?» — подумал про себя, но терпение уже вышло. — Товарищ боец, вы давно из боя?

— Два дня, — поднял красноармеец голову.

— Два дня лесом шли?

— Лесом только ночью.

— А днём — полем? — ощерился молодой в полубудке.

— Нет, днём пережидали, — поправился красноармеец, понимая, что против начальства не попрёшь и надо сносить всё, даже насмешку. — У нас раненых пятеро. Трое не ходят, — добавил он.

— Я видел, — кивнул Гаврилов. — Как шли? Дай карту, — повернулся к лейтенанту.

— Не могу. Секретная.

— Эх... А моя как раз тут срезана... На восток всё время шли? — спросил бойца.

— Вроде...

— Володи, — незло усмехнулся Гаврилов. — Ну, а немцев не встретили?

— Нет. Мы из лесу — никуда...

— Я же сказал — беглецы! — обрадовался мотоциклист.

— Да погоди ты! — снова отмахнулся Гаврилов. — Оружие есть?

— Есть... Только немного. «Дегтярёв» один, ну и винтовки само собой...

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— И гранаты? — подсказал Гаврилов, как экзаменатор растерявшемуся первому ученику.

— И гранаты, — кивнул боец, — только тоже мало...

— Дезертиры, — мрачно сказал щёголь в полушубке.

— Брось, лейтенант, — отмахнулся Гаврилов, как бы распечатывая мотоциклиста.

— Ничего, ребята, — повернулся к бойцу. — Ничего. Сейчас вас покормят. Жалко только, что про немцев мало знаете. Может, хоть танки слышали?

— Врать не буду, товарищ капитан. Слышать — слышали, только не высывались. Нас ведь штурмовая группа была — полтора взвода. Лейтенантов двоих убило. Мы к своим вперед шли. И вдруг немцы... Откуда взялись — не поймешь. Два раза их отбивали. А потом вот сколько осталось, и мы в лес... Больше не высывались.

— Значит, впереди бои?! — обрадовался Гаврилов.

— Ага, товарищ капитан, — тоже обрадовался боец. — Всё время идут. Там нашего брата сосчитать невозможно. Две армии, слышал, дерутся насмерть. Это немцы случайно прорвались. Танки...

— А еще что видели? — спросил Гаврилов.

— Еще чего? Еще самолеты, — неловко усмехнулся боец.

— Ну, этого добра и тут хватает, — только усмехнулся капитан. — Вон снова летят.

Над лесом, вовсе не так высоко, тысячах на двух метров, не больше, летели три «Юнкерса» и чуть сзади, выше их, два «Мессершмитта».

— Отойдем, капитан, — тихо сказал лейтенант в белой овчине.

Красноармеец покорно остался ждать у моста. Женщины все сбежали к церкви. Оттуда доносилось, прямо гудело:

— Ваньку Сизова видел?

— Евтеева Сергея встречали?

— Слушай, милый, Шлыковых, Шлыковых Вальку с Валеркой находил? — надрывалась Ганя.

— Ну, — сказал Гаврилов, когда они с лейтенантом поднялись на бугор.

— Ты командовать останешься? — спросил мотоциклист.

— Куда мне?.. Не видишь, что ли? — кивнул он на церковь и женщин.

— Тогда не мешай. — Боец, ко мне! — крикнул лейтенант в сторону моста.

— Только помни: люди всё-таки, — вздохнул Гаврилов, понимая, что говорит впустую.

— Не учи, — огрызнулся лейтенант. — Вот что, товарищ боец, — повернулся он к подбежавшему красноармейцу. — По лесам погуляли, теперь и повоевать надо. Приказ такой. За мостом отроее ячейки и займете оборону. Наши подойдут — вас сменят. А теперь — кругом! Обед вам туда доставят.

— Так, товарищ капитан? — глянул с надеждой боец на Гаврилова: вдруг тот снова обрежет молодого в полушубке?

Но Гаврилов только спросил:

— Лопат не требуется?

— С девушками бы заодно... — улыбнулся боец.

— А что! Это можно, — весело крикнул лейтенант. — Этого добра тут хватает.

— Не дам, — мрачно сказал Гаврилов.

— Ты что? — удивился мотоциклист.

— Не дам и всё. Забирай, боец, лопаты и присылай за кашей, — и, повернувшись, капитан пошел к церкви.

— Тебе чего, гарему своего жалко? — спросила вертевшаяся неподалеку Марья Ивановна, когда он проходил мимо. — Так он тебе вроде ни к чему.

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— Мне, может, и к чему, а женщинам, действительно, ни к чему на тот берег лазить.

— Да не паникуй, капитан, — догнала его уполномоченная. — Или у тебя заодно командирскую храбрость оттяпало?

— Дурёха, — печально улыбнулся он. — Ах, дура ты моя несносная...

— Ты чего это?

— А ничего, Маруся, ничего... Слушай меня, только тихо. Вчера по телефону обещали платформы. Но сама знаешь: верить — верь, а надейся на себя. Так вот, если, — он поглядел на большие, переделанные из карманных ручные часы, — через сорок минут платформ не будет или приказа нового не пришлют... снимайся отсюда и двигайся к столице. Встретит начальство, объяснит, где рыть.

— Врёшь, — уже по инерции выдохнула уполномоченная. — А этот на что? — вдруг вспомнила она про лейтенанта, который следом за бойцом шел сейчас по мосту на тот берег.

— На мотоцикл сядь! — крикнул ему Гаврилов, но тот только рукой махнул.

— Раненых стесняется, — сказала уполномоченная.

— Да нет. Ему далеко ехать страшно, — засмеялся капитан и хлопнул Марию Ивановну ниже спины.

— Ты чего? Или заиграло? — усмехнулась она.

— Заиграло. Да играть, Маруся, нет времени, — подмигнул Гаврилов, зная, что теперь им ссориться уже никак нельзя.

— Врал, значит?

— Ну, как сказать... Может, малость присочинил.

— Ну и ну, — покачала она головой. — Артист... Ой, да погоди! Вот они, твои платформы.

И вправду на горизонте запыхтел серый дымок и почти внятно слышались небыстрые перестуки колес.

— Там оружия полно, — зашептал Гошка, возвращаясь от моста к Лие. У них не было родных на фронте, и они не побежали к раненым, а присели у своего окопа.

— Хорошо бы — удалось... — кивнула Лия.

— Капитан, чёрт, не пустит. Командир с автоматом просил подкинуть женщин на тот берег, а капитан упёрся, — покраснел Гошка, потому что утаил, для чего мотоциклист просил у Гаврилова женщин. — Вот так, — повторил он, чтобы прикрыть неловкость.

— Да, — согласилась Лия, хотя хмурый и усталый капитан внушал ей больше доверия, чем бравый мотоциклист в полушубке,

— Знаешь, что? В крайнем случае ночью под мостом переберемся! — по-заговорщически переходя на ты, зашептал Гошка. — Вода ведь не такая холодная.

— Нет, — улыбнулась Лия.

— О чём шепчетесь? — крикнула с бугра Санька. — Не попадался им, — засмеялась, — мой алкоголик. Авось жив папаня. Пьяного пуля боится.

— Скажем ей? — нерешительно спросил Гошка.

Ему нравилась пухлая и смешливая Санюра.

— Давай спросим, — согласно шепнула Лия.

— А чего? Можно! — бодро зевнула Санька, когда они, перебивая друг друга, крикливым шёпотом стали излагать ей свой план. — Только одного фрица — это маловато. Я меньше чем за пятерых жизнь отдавать не буду!

Веселой Саньке не хотелось умирать, да и всё это пока было только разговором.

— Да, ой, ребяташки! — крикнула она вдруг. — Гляньте, поезд сюда идет.

— Я их, капитан, собирать не буду. Сам скликай, — ворчала Марья Ивановна. — Всё равно, как в опере «фига — тут, фига — там». Только людей мучить.

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— Ладно, скажу. Погоди, — отмахивался Гаврилов.

Поезд шёл медленно, кроме дыма, ничего пока не было видно.

— Порядок! — взбодрился за спиной Гаврилова лейтенант. — Подкиньте, девчата, товарищу бойцу шесть мисок.

Позади мотоциклиста стоял красноармеец в грязной шинели, но уже в приведенной в порядок пилотке. «Это другой, — подумал Гаврилов. — Не тот, что докладывал».

— Быстро ты обернулся, — кивнул он с насмешкой лейтенанту.

— А что? Людей расставил. Уже окапываются.

— Орден получишь!

— Брось заливать.

— А что? Дезертиров остановил. Панику ликвидировал. Оборону поставил. Вполне дать могут, — издевался Гаврилов. — Вырви лист — напишу представление.

— А чего? И остановил ведь, — не очень уверенно сказал лейтенант.

— А я что? Дай-ка бинокль, если не секретный.

В шестикратном увеличении дым не полз быстрее, но зато было видно, что паровоз опять прицеплен сзади трех платформ. Людей на них не было.

Ты шлешь моряков на тонущий крейсер,
туда, где забытый мяукал котенок... —

вдруг вспомнились Гаврилову строчки из стихотворения «Ода революции», которое на двадцать вторую годовщину задумал было читать один боец из карантина.

— Не пойдёт, — коротко и резко сказал тогда политрук Гаврилов.

Вся ленкомната, набитая этими ротными артистами, разом повернула к Гаврилову свои тридцать с лишним голов.

В стихотворении были еще другие, по мнению Гаврилова, вовсе сомнительные слова, но придрался он к этим.

— Не для того революция была, чтоб кошек спасать, — сказал срываясь.

— А вы сами, товарищ политрук, участвовали? — наведя невинно-ехидные глазки, спросил читальщик.

— Я — нет, да и Маяковский твой — нет.

— Он «Окна РОСТА» рисовал.

— Картинки? — притворяясь тёмной деревней, усмехнулся Гаврилов.

Хоть он и был политруком и как бы родным отцом и покровителем самодеятельности, но самозванных артистов терпеть не мог и считал их всех до одного лодырями и симулянтами. «Настоящий боец, — считал Гаврилов, — тот, кто от службы не бежит и товарищей за себя в караул или в кухонный наряд не гоняет. Настоящий боец да и парень настоящий, он тебе без всяких репетиций на марше к месту такое отмочит, что рота живот надорвёт. А со сцены по бумажке или на память выучить, это каждый дурак может».

Но вслух он этих мыслей не высказывал, потому что самодеятельность считалась надёжным помощником командиров и политработников в деле укрепления воинской дисциплины, и пока ходил в политруках, он соглашался с этой формулой, стараясь только пореже ее повторять.

— А вы знаете, — взвился тогда в ленкомнате новенький боец, — что «Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом»? Знаете, кто это сказал?

— Знаю, — кивнул Гаврилов.

— То-то, — сказал боец под одобрение всех этих сачков из самодеятельности. Видно было, что они ни грош не ставят политрука и смеются прямо в глаза.

«Вот крючки на мою голову! За кого прячетесь?» — обиделся он тогда не столько за себя, сколько за весь политсостав РККА.

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

— А ну, дайте-ка книгу. Других, что ли, стихов нет? Вот про паспорт можно или про город-сквер...

Он взял толстый большой том, раскрытый на передних страницах, глянул на вытянутое стихотворение и, еще не разобрав всего, заметил под ним цифру «1918».

— Не пойдет, — повеселел, возвращая книгу.

— Разрешите обратиться к комиссару полка? — звонко крикнул салага.

— Обращайтесь, — усмехнулся Гаврилов. — Только он тоже не позволит. Твой Маяковский — советской эпохи, а стихи — времени военного коммунизма. Неувязка, а? — И незадачливый чтец-декламатор не то, чтобы был посрамлён, но промолчал, не найдя подходящего ответа.

«А может, и прав был Маяковский? — думал сейчас Гаврилов, разглядывая в бинокль три платформы и паровоз. — Хотя и не кошки, а всё же спасают, шлют транспорт, хотя его сейчас полный дефицит. Где бы в другой стране спасли?» — и, вспомнив заодно челюскинцев и папанинцев, он примирился сразу с тем бойцом-декламатором, которого ранили на второй день войны, а заодно и с автором стихотворения, который сам застрелил себя из-за чужой женщины.

— На, забирай, — протянул он лейтенанту бинокль и тут же простым глазом увидел над медленным составом быстро растущий «Мессершмитт».

Железнодорожная насыпь вильнула вправо, и теперь состав со стороны церкви был виден весь. Он пятился от самолета, а самолет лез на него. С первого захода «Мессершмитт» только дал пулемётную очередь и круто пошел вверх. Скорость у истребителя была велика, а поезд еле тащился.

«Сейчас из пушки жиханет», — подумал Гаврилов.

По всему бугру стояли женщины и остолбенело глядели на паровоз и истребитель.

— Ложись! — закричал Гаврилов. — Раненые где? — обернулся он, но бойцов еще раньше отнесли в церковь. Лейтенант в шикарном полушубке уже лежал на земле, и боец, который пришел за кашей, тоже лежал подальше, возле костра. На бугре женщины прыгали в траншеи. «Сейчас в котел даст», — подумал Гаврилов, глядя с земли, как самолет начинает большую петлю, с тем чтобы вырулить подальше от отползающего паровоза и расстрелять его из пушки. Калибр двадцать миллиметров. Пробьет, пожалуй...» И тут самолет, летя уже почти по прямой, жажнул два раза в «овечку», но то ли не попал, то ли срикошетило, а только паровоз продолжал пятиться к разбитой станции.

— Ага! — обрадовался Гаврилов и повел взглядом за истребителем, который, полоснув по паровозу из пулемета, взрулил не очень высоко и закачал крыльями над картофельным полем. «Будто хвастается? Так ведь не убил машиниста... — перевел капитан взгляд на паровоз. Тот всё так же медленно отползал к развороченной станции. — Нет, зовёт своих», — решил Гаврилов и тут же услышал винтовочный выстрел. Из кабины «ГАЗа А-А», приоткрыв дверцу и уложив на нее карабин, студент целился в истребитель.

«Зря... не попасть! — подумал капитан. — Но вреда тоже нет: за мотором не услышит...»

И действительно, «Мессершмитт», помахивая крыльями, как ни в чем не бывало покачивался высоко над картофельным полем.

«Улетит или нет? Улетит или нет? — нервно гадал Гаврилов, укладывая пальцы перед небритым подбородком. — Да уматывай. Нельзя мне лежать на земле, хоть и сухо сейчас», — чуть не просил он, словно это был свой самолет, а не немецкий.

И тут за спиной, за церковью, завизжало, заревело заводской сиреной, — раз-раз-раз — пошли взрывы, и тут же завыло кровельное железо, а над самим Гаври-

ловым взмыл огромный желтый с красным носом и красными колесами бомбардировщик «Юнкерс-87».

Этот не играл с паровозом, как сытый кот с мышью. Косо, над самым малым углом, перелетев путь, он пустил на насыпь две бомбы, и Гаврилов, уткнув голову в землю, даже не успел понять, что эвакуация железнодорожным путем отменяется. Опять от свиста, рёва и новых взрывов заложило уши — и второй, точно такой же огромный и жёлтый бомбардировщик взмыл над Гавриловым поближе к железнодорожной насыпи. Визг сжимал голову и сдавливал затылок, не давая оглянуться, а надо было, ох, как надо было поглядеть, что там на бугре сзади.

«Хоть бы в женщин не попало!» — уже не думал, а скорее мечтал капитан. Голова стала тяжёлой и мыслей не принимала.

За церковью взорвалось еще два раза, а потом началась пулемётная стрельба. Она прошивала вой сирен и грохот кровельного железа.

— У-у-у! — несло над всем полем, то глуша, то чуть отпуская, чтобы снова еще сильнее оглушить.

«Да что им воевать не с кем?» — тоскливо пронеслось в мозгу. И тут же рядом подскочили земляные брызги от пулеметной очереди. «Это они по тому берегу», — вспомнил он, слыша новые взрывы, идущие со стороны церкви.

— Твою оборону бомбят! — шёпотом крикнул лейтенанту, но тот лежал, не подымая головы. — Привыкай! — крикнул капитан, но тот, видно, не услышал, потому что снова начал нарастать вой снижающихся «Юнкерсов». Теперь они пролетали над бугром и картошкой, чуть сторонясь церкви, а «Мессершмитт», как младший брат, висел над ними, радостно покачивая крыльями.

«Воем берут, — соображал Гаврилов, постепенно привыкая к надрывам сирен. — На патроны не щедрятся». — И тут опять (словно сглазил!) полоснуло оче-

редью по земле, и вслед уходящему гулу зазвенело стеклом.

«По «ГАЗу», — понял он и из-под прижатой руки глянул на полуторку. Лобового стекла на ней уже не было, но студент был жив, потому что ствол карабина медленно полз по верхнему краю дверцы.

«Ишь ты! — попробовал усмехнуться капитан. — А что? Так и надо!» Эй, учись у наших! — крикнул он, но лейтенант в дубленом полушубке так и лежал, вдаваясь в серую землю.

С бугра железнодорожную насыпь было видно хуже, но женщины и оттуда во все глаза следили за самолетом и поездом. Никто не знал, что состав послан за ними, и его просто жалели, потому что с рельсов уйти ему было некуда — не грузовик. Паровоз отступал всё ближе к бугру, а самолет спускался на него, и когда в первый раз не рассчитал и промахнулся, на бугре обрадовались, но тут же поняли, что станция разбита и деваться поезду всё равно некуда. Самолет ушёл в небо, потом снова вернулся, ударил из пушки, а паровоз всё отползал и отползал к разбитой станции. На бугре обрадовались и стали кричать и махать руками:

— Назад! Назад крути!

Но машинист то ли не слышал, то ли боялся остановиться, и паровоз медленно полз к развороченным рельсам. Теперь уже с бугра было видно хорошо, но тут заревели «Юнкерсы», а что было дальше, никто уже глядеть не стал. Начали сыпаться бомбы, и женщины кинулись на дно траншей, а кто не успел, уткнули головы на бугре и на склоне в твердую или копаную землю.

Бомбы падали сначала на насыпь, потом на тот берег, а две упало в реку, и фонтаном воды плеснуло на Гошку, который лежал над своим первым окопом, не успев прыгнуть в него. «А-а-а!» — заревело над пареньком медленно и тягуче и так вдавило кости клю-

чицы, будто по спине проехал танк или гусеничный трактор. «А-а-а!» — нехорошо стало в животе, и пища, горячая, пшённая, кислая, долбанув в нос и в уши, стала выталкиваться изо рта в сыроватую мягкую землю бруствера, а Гошка не мог поднять головы, и жижа, мешаясь с землей, ползла по щекам.

— Жык-жык-жык, — строчило, как на швейной машинке, по склону сначала вдоль тела, а потом поперёк, словно сверху метили только в одного Гошку, хотели навсегда пришить, пристрочить к этой липкой земле, но каждый раз промахивались. И снова накрывало гулом, гулом и тянуло болью, как будто рвали зуб без наркоза, но не зуб, а его всего откуда-то вырывали, а он не давался.

— Кхе-кхе, — вываливалось из него и залепляло уже глаза, а он лежал ненавистный самому себе и, теряя силы, кричал: — Мамочка! Мама! — но за рёвом бомбардировщиков, слава Богу, никто не слышал. — Ведь меня убьют сейчас. Ой, — стонал он, чувствуя, что еще немного и вырвет вместе с последней кашей легкие и сердце. — Ой! Да что же я? Надо... Надо... — шептал, тут же забывая, что надо, а потом рёв ослабевал, и он вспоминал, что по самолётам надо стрелять. Но стрелять было не из чего. «У, капитан-зараза!» — вспоминал Гошка. Но тут его снова накрыло гулом и рёвом, и опять забрызгали фонтанчики земли. «Капитан-зараза проглядел... Не пустил... Капитан проглядел. Зараза не пустил...» — повторял Гошка, как молитву, не раскрывая забрызганных глаз. Весь берег прошивало пулеметными очередями, а в ответ с земли неслись только слабые стоны. Ручной «Дегтярев» с того берега тоже не отвечал. Видно, там уже не было живых.

Лия лежала в двадцати шагах выше Гошки в только что начатом окопчике, ей некуда было спрятаться, и, на мгновение открывая глаза, она видела самолёты, два

больших и один маленький, которые летали над ней, над бугром, полем и другим берегом.

«Господи! — закрывала она руками голову. — Так погибнуть ни за что?! Ни за что, ни за что, ни за что... Ничего не сделать. Но где же наши? Где наши? Сейчас ведь меня убьют. Сейчас всех нас убьют!» — стучало сердце в груди, и снова ревели самолёты.

— Ва-ва-ва! — ревели самолёты или это ревело в самой Лие, и некуда было приткнуться вдруг ставшую совсем чужой, страшно огромной, тяжелой и неповоротливой голову.

— Нам надеяться не на кого, — сквозь вой самолётов донесся скорбный голос Елены Федотовны.

«Не сходи с ума!» — одернула себя Лия и открыла глаза. Церковь стояла на месте, а за церковью наполовину виден был грузовик, из дверцы которого выглядывал край винтовочного ствола. Ствол двигался, двигался по дверце, вздрагивал и опять медленно двигался, уже в обратную сторону.

«Это тот мальчик! Какой молодец!.. — сообразила Лия как в бреду, в рёве накрывающих ее самолётных сирен. — А я — ничего... Я — ничего...»

«Ничего, ничего», — уговаривал ее какой-то тихий, но настойчивый голос, который шел издали-издали, из самого затылка, и стучал, как колёса приближающегося поезда.

«Поезда нет, — подумала она, но тут же увидела неподалеку от линии траншей, впереди и справа, неподвижный паровоз с тремя платформами. Пар лениво и редко выбивался из его трубы. «Машиниста, наверно, убило...» — решила она. Но тут снова заревели самолётные сирени, и разрывной волной с того берега на мгновение оглушило Лию.

«Ничего, ничего», — стучало в голове, приближаясь от затылка к ушам и вискам, а сверху выли самолёты, в которых никак не мог попасть водитель автомашины «ГАЗ А-А».

Санька с Ганей успели раньше других прыгнуть в траншею и теперь лежали на самом дне. От взрыва бомб стенки канавы осыпались, и земля забивалась под платок, в уши и волосы. Обоим было страшно, но каждой по-своему. Ганю бил ужас, а Саньке было тоскливо-тоскливо, так тоскливо, что здоровое и веселое тело вдруг стало больным и затёкшим. «Вроде, как у Лийкиной карги», — скорее почувствовала, чем подумала Санька.

«Сейчас убьют, и ничего не будет. Тут и зароят, — представляла она, как ее зачем-то разденут и засыпят белые бока и груди этой мокроватой землей, в которой ползают склизкие черви, и ее взял такой страх, что она готова была выпрыгнуть из траншеи наверх, где ревели и стреляли немецкие самолеты. Эта склизкая земля была ей страшней, чем жёлтые драконы в небе. Но на ней лежали еще две женщины, и она не то что их скинуть, а рукой пошевелить на самом деле не смела, так отнялось всё внутри...

— Витечка. Витечка! — визжала Санька неслышным голосом, не зная, кого еще звать на помощь. «Один ты у меня был...» — несло, стонало в голове, которую придавливало осыпающейся землей, бабами и самолётным ревом.

А Ганя, пока не улетели самолёты, лежала в столбняке, как курица, уставшая трепыхаться в руках поймавшей ее перед обедом хозяйки.

— Вставай, — сказал Гаврилов лейтенанту. — Улетели. Ну, кому говорю?! — Издеваться уже не было сил. — Вставай, — повторил он печально. — Начальству доложишь.

Лейтенант всё лежал. Гаврилов наклонился над ним, тронул за плечо — лейтенант лежал как мертвый.

— Ну, — приподнял ему голову Гаврилов. Глаза были закрыты, а голова медленно поползла по гавриловской ладони и стукнулась о кожух автомата.

«Готов!» — подумал капитан и тут только заметил на дубленом полушубке две аккуратных дырки, чуть больше тех, какие оставляет конторский дырокол, когда подшиваешь бумаги.

— Докомандовался парень! — вздохнул капитан, ничего не чувствуя, потому что голова всё еще тряслась от взрывов, воя, рёва и пулемётного треска. Он оставил мертвого и пошел к церкви.

— Студент! Жив?! — крикнул, вздрагивая от собственного голоса, так отдало сразу болью в затылок.

— Жив. Всё промазал, — хмуро отозвался тот, словно они были с капитаном на полковом стрельбище.

«Молодец», — хотел сказать Гаврилов, но голос почему-то забило слезами. — Молодец, — сказал он потише и подошел к грузовику. Борта были сплошь покарёжены, словно орава пацанов строгала их гвоздями, ножами или осколками стёкол; стенки кабины были где пробиты, где обшарпаны следами пуль. Переднего стекла не было. Но радиатор был цел, и мотор уже работал.

— Кажется, обошлось, — улыбнулся студент. — Раненых повезти?

— Да! — смахнул Гаврилов со лба землю. Боль уже прошла. — Повезём. Ты повезёшь. Молодец, студент! Не то, что... — он хотел сказать про мотоциклиста, но вспомнил, что того убили. — Да, раненых надо забирать. Организуй там... — и пошёл к костру.

Возле погасшего костра и дальше на бугре всё начало понемногу шевелиться, подниматься, стряхиваться, даже разговаривать, но доходило до глаз и слуха будто через какую-то пелену или воду.

«И впрямь, как утопленники», — подумал Гаврилов и тут же увидел уполномоченную. Она стояла над двумя скорчившимися на земле женщинами. Но женщин он увидел не сразу.

— Живая, Марь Ивановна?! А твоего — намертво.

— И твоего — тоже, — кивнула уполномоченная на бойца, который, уткнувшись в землю, лежал шагах в десяти от убитых женщин. Рядом валялись миски с остывшей кашей. — Не поевши, — вздохнула Марья Ивановна.

— Книжку у него из кармана возьми. Шофёр передаст, — сказал Гаврилов, стараясь поскорей отвернуться от мертвых женщин. — Собираться вам надо, милая ты моя, — вдруг обнял он её при всех, но тут же оттолкнул и пошел на бугор.

— Раненые есть? — кричал там, спеша вдоль траншеи. — Есть раненые?!

— Дальше, кажется, — отвечали женщины, выбираясь из канав.

— Иди проверь! — крикнул он попавшейся на глаза Саньке. — Жива? — спросил сидящую в окопчике Лию. Та, не поднимаясь, кивнула головой.

— А парень твой жив? — вспомнил капитан.

Лия мотнула головой в сторону реки. Там Гошка, присев на корточки, отмывал лицо.

— Так, — вздохнул капитан. — Собирайте всех. К церкви идите. Уходить будем, — и он быстрым шагом вернулся к мотоциклисту.

— Придется побеспокоить, парень, — склонился над ним и снял с него автомат и бинокль. — Да, еще и планшет и документы, — вспомнил и, осторожно перевернув лейтенанта и расстегнув на нём полушубок, достал из кармана гимнастёрки партбилет и удостоверение. — Гаврилкин Алексей Степанович. Смотри, почти однофамилец, — покосился на мертвого, пряча документы в карман шинели и цепляя к портупее второй планшет. — Прости, — пробормотал неловко, потому что мысли были заняты живыми. — Да, еще колеса у тебя были...

Мотоцикл, рогатый как баран, по-прежнему жался к стене храма.

«Значит, эвакуация? Выходит, что так...» — переговаривался с собой Гаврилов, возвращаясь к траншеям.

— Раненых помогите выносить! — кричал он. — И живо, живо...

— Документ шофёру отдай, — кивнул Марье Ивановне, которая склонилась над мертвым красноармейцем.

— Эй, — крикнул Гошке с бугра. — Беги сюда.

Гошка медленно побежал вверх по склону.

— Автомат бери! В Москву поедешь, — усмехнулся Гаврилов, уже решив, что мотоцикл и автомат для одного человека чересчур жирно. — Давай бери, чего уж... — добавил, принимая Гошкину ословелость за стеснительность. — Цепляй и дуй к шофёру.

«Пусть хоть этот жив будет. Ему еще воевать», — устало подумал Гаврилов.

— Раненые есть? — снова кричал, спеша вдоль бугра.

— Есть, — отзывались из траншей.

— В кузов тащите.

Ему не хотелось смотреть на раненых женщин.

— Сколько убитых? — вернулся он к уполномоченной.

— Пока две всего. Поварихи.

— Запиши фамилии и вели зарыть в траншее. И быстро. Уходить надо. А то вдруг танки появятся.

— А те зачем? — не то печально, не то сдуру спросила уполномоченная, кивая на тот берег. — Или их уже — ть-у-у! ть-и-и-и-уу! — пропела она, подражая вою падающих бомб.

— Не знаю, — нахмурился он. — Ты своими занимайся.

Тех, на другом берегу, он уже давно как бы отделил от себя. За ним были только женщины и раненые в церкви.

— Говори всем, чтоб уходили. Лопаты пусть берут, а кирок не надо. И продукты — там крупу, сахар —

пусть в кошёлки сыпят. И смотри, чтоб на дороге не гуртились, как овцы. А то опять прилетят...

Он глянул в небо, но там было уже много туч, словно их нагнали самолёты. Вокруг быстро темнело.

— Ой, мамочка! Не уроните! — стонала женщина. Три другие несли ее с бугра.

— В кузов несите, — сказал, отворачиваясь, капитан.

— Много раненых? — крикнул он в сторону траншей.

Ему не ответили.

— Ладно... Вот что, Марь Ивановна! Ты води всех в Москву, а я сам проверю. — Он подошел к мотоциклу. Тот завёлся сразу.

— Бак полный. Я смотрел, — кивнул водитель.

— Проверю, может, кто есть еще в окопах, — сказал Гаврилов, как бы извиняясь перед студентом за всю бомбёжку, раненых женщин, покарёженную автомашину и еще за этот неожиданно доставшийся ему трофей.

— Мы теперь женщинам не нужны. От нас им теперь одни неприятности.

— Понятно, — кивнул студент.

— Выведи машину на дорогу. Туда донесут. А то еще... — он снова глянул в небо. Тучи быстро чернели. — В общем, счастливо тебе! Он протянул водителю руку. — Паренька довези, — кивнул он на сидевшего в кабине с автоматом на шее Гошку. — Да, вот книжки возьми. Почти однофамилец оказался. Отдашь первому, кого встретишь, всё равно, из наших ли, или ихних. И вообще доложи, как всё было...

— А вы? — спросил водитель.

— Я как-нибудь уйду, — похлопал Гаврилов по баку мотоцикла. — Ну, а в крайнем случае и тут хватит, — поправил он кобуру «ТТ».

Женщины уже стали тянуться по шоссе от церкви. Они шли утрумо, как на похороны или с похорон. Ко-

шёлки раскачивались на перекинутых на плечи лопатах, тяжёлые вёдра почти не бренчали в руках. Он проехал мимо них и свернул к мосту. От мотоцикла было тепло, и дрожь педали на малой скорости не мешала раненой ноге. Даже как бы утешала её.

«Освоюсь», — чуть повеселел Гаврилов.

— Товарищ командир! — вдруг донеслось до него справа от дороги. Он притормозил как раз над валяющимися в кювете самодельными ежами. Из недокопанной траншеи выкарабкался старичок в мягкой фуражке с матерчатым козырьком, закутанный в длинный плащ. «Вот ты где! А я и забыл про тебя», — усмехнулся Гаврилов.

— Чего вам, отец? — спросил вслух.

— Значит, насколько понимаю, ежи уже не требуются? — сказал старичок. За его спиной на бруствере сидели три паренька.

— Все целы? — кивнул на них Гаврилов.

— Целы, — процедил старичок. — А ежи, выходит, больше не требуются? Так понимать надо? — махнул он рукой на уходящих в другую сторону женщин.

— Да, бросьте, отец, — вздохнул Гаврилов.

— Мне бросать нечего, — разнервничался старичок. — Вы меня бросаете, а не я вас. — И, взглянув через подвязанные веревочками очки на измученного небритого капитана, зло прибавил: — На Карельском лучше воевали.

— Там зима была, — тихо сказал Гаврилов и повел «ИЖ» за рога, стесняясь при старичке влезать в седло.

— Так что же и мне зимы ждать?! — закричал ему в спину старичок жидким голосом. — Так вот она зима! — махнул он рукой на низкие, вовсе чёрные тучи.

Гаврилов, не оглядываясь, свёл мотоцикл с дороги на берег и там, вдоль самой воды, поехал в сторону железнодорожного моста.

— Раненые есть? — кричал он.

Последние женщины покидали траншеи и уходили

к шоссе. Некоторые наспех споласкивали в реке лица.

— Быстрей! Быстрей! — отгонял он их от воды.

Они покорно поднимались и брели вслед ушедшим. Гаврилов проехал берегом до железнодорожной насыпи, потом метров двадцать вдоль неё, а затем, повернув, поехал по этой стороне бугра к церкви. О паровозе, который намертво, уже не пытая, прирос к рельсам, и о машинисте с кочегаром он старался не думать. До них от храма было километра полтора, и приказывать усталым женщинам тащить из паровоза убитых было выше его сил.

— Раненые есть? — снова кричал он.

Уполномоченная и еще три бабы спешно зарывали недалеко от церкви убитых женщин.

— Иди, Марь Ивановна. Я dokonчу. Иди, — сказал капитан.

— Еще этих надо, — кивнула уполномоченная на бойца и лейтенанта, которые лежали на бруствере и которых она не решилась похоронить рядом с поварихами. — Шубейка на нем добрая, — мотнула головой на лейтенанта.

— Иди, — сказал Гаврилов. — Догоняй народ. И смотри, если танки... лопаты пусть сразу кидают.

— А ты как?

— Я на колёсах.

— Догонишь?..

— Нет, — помотал он фуражкой. — Прощай, не побаловались.

— Ничего, авось свидимся, — усмехнулась она. — Держи лопату. Айда, девушки, — крикнула женщинам и повела их с бугра.

«Стой! — хотел он крикнуть ей вслед, глянув на полушубок убитого. — А, ладно... Неудобно. Я его и так раскулачил».

Он спустился в траншею и начал за плечи бережно стягивать туда мертвых, сначала бойца, потом лейтенанта, стараясь уложить их поаккуратней.

«Вот какие пироги!» — вспомнил он слова мотоциклиста. — Синяки! — сказал вслух, — Точней: на орехи мне достанется! — и выкарабкавшись из траншеи, стал сбрасывать землю с бруствера на убитых. «Пусть хоть женщины до переезда дойдут. Там вильну в сторону на почту...» Ему не хотелось живому и с виду целому проехать на мотоцикле мимо бредущих по шоссе, измученных рытвем и бомбежкой окопниц.

«Ну что для них сделал? Ну, спекли бы картошки вместо твоей каши! — продолжал он спорить с собой, а голова от всего перевиденного опять начинала гудеть в висках и ныть в затылке. — Сто километров за пять мешков пшена. Вон какая каша из-за твоей каши... — попробовал отшутиться, но шутки как-то не выходило. — Не нашли бы фортификаторов, ушли бы пешком, и все дела. Этот, в балахоне, их не удержал бы... — с раздражением вспомнил он кругленького старикашку. — Ну и что, что лучше? Без тебя знаю...»

— А, не время злиться, — сказал себе. — Пора за квитанцией ехать.

Он быстро добросал в могилу землю, чуть приподняв её над краями траншеи. Потом достал из своей планшетки чернильный карандаш и, посклонив, вывел у самого черенка лопаты:

ДВЕ МОСКВИЧКИ Л-Т ГАВРИЛКИН

«Эх, жаль, — подумал, — имя не запомнил».

Фамилии бойца он вовсе не знал и потому, чуть повернув лопату, написал:

БОЕЦ (РККА)

И тут до него донеслось еле слышное не то нытьё, не то плач или всхлипывания.

— Кто там? — крикнул он.

Всхлипывание крепчалю.

— Где ты? — тревожно закричал капитан.

— В церкви... — донесся бабий голос.

Гаврилов бросился в храм. В тёмном закутке, у ризницы, жалась какая-то женщина в ватнике, в лыжных шароварах.

— Что, раненая? — со страхом спросил Гаврилов, потому что машина уже ушла.

— Нет, — продолжая выть, мотнула головой Санька.

15

Студент вывел машину на дорогу и стал ждать. Женщин больше не несли.

— Все, что ли? — крикнул в темноту, закрывая задний борт. Всех раненых было девятнадцать — пятеро бойцов и четырнадцать женщин.

— Возьми меня, парень. Я всё равно как раненая, даже хуже, — снова заныла крутившаяся возле грузовика Ганя.

— Ну, чёрт с тобой, лезь, бабка, — согласился студент. — Лопату оставь. Вот на колесо заднее становись и перемахивай. И по-быстрому, а то...

Он боялся, что попросится еще кто-нибудь из проходивших мимо женщин, но они шли молча, вовсе не похожие на тех вчерашних — на пересылке.

— Хорошо бы рыженькую подсадить. Совсем слабая... — огляделся студент, но Лии нигде не было.

Еще ему хотелось подвезти кого-нибудь из студентов, рывших траншеи возле насыпи, но он, смутившись, тут же отогнал эту мысль. Студентки были молоды и могли пройти сами.

— Патроны у кого остались? — крикнул бойцам в кузов. — Я все в небо пустил.

— Бери, — ответил сверху раненый и протянул пояс с двумя кожаными подсумками.

— Ну, всё. Поехали! — крикнул студент в кабину. — Цацку только перевесь, — сказал Гошке, кивая на автомат. — Пусть в окно смотрит. Или дай диск вытащу.

Он оттянул защёлку и к Гошкиному неудовольствию положил магазин на сидение рядом. «ГАЗ» тронулся, и сразу забило ветром в кабину, и стало очень холодно.

— Пронимает, — подмигнул студент. — Зато сектор обстрела какой! — и показал на пустую раму. — Ты теперь стреляный!

— Что? — крикнул Гошка. Из-за ветра ничего не было слышно.

— Страшно было? — крикнул шофёр.

Гошка неопределенно пожал плечами. «ГАЗ» прибавил скорости, и впору было закрывать лицо рукавом.

— Мне тоже! — кричал шофёр. — Руки как дрожали. Ни разу не попал.

Гошка ничего не расслышал и не понял, но согласно кивнул.

— А рыженькая где? — снова крикнул шофёр.

Гошка опять кивнул. Он не слышал.

— Рыжая где? — больно дунул ему в ухо водитель.

— Там! — крикнул Гошка, закрывая от ветра ладонью голос.

— Живая?

— Да, да! — закричал Гошка.

Он не знал, как рассказать шофёру про Лию. Отчаянно било ветром, а сразу за переездом посыпался какой-то снег, твердый, вроде мелкого града. «Кажется, называется крупа», — вспомнил бедный Гошка.

Лию он в последний раз видел, когда бежал с автоматом к машине. Она даже как будто позвала его, но ему было некогда и неловко разговаривать с ней при отдававшем важное приказание капитане, да и позабыл он тогда о всех их дневных планах и соображениях.

После бомбёжки они как-то разом вылетели из головы. И тогда на бугре он уже думал о раненых. «Её там всё равно не оставят, — успокаивал себя сейчас, стараясь из солидарности с шофёром не очень прикрываться от бившей в лицо крупы. Правой рукой он гладил автомат, а левой — лежащий на сидении диск. Крупа барабанила по лицу, и нельзя было попросить шофёра, чтобы ехал помедленней. О том, что с ним было во время бомбёжки, Гошка старался не вспоминать.

Лия видела, как Гошка побежал на бугор к капитану, и, поняв, что он не вернется, тоже не очень огорчилась. Разговоры до бомбёжки были далеким детством, а сейчас наступал настоящий, самый последний и решительный момент, и надо было не прозевать его и не пропустить. «Гошенька — мальчик, совсем еще мальчишечка», — усмехнулась она, вспомнив его позеленевшее, недомытое, страдальчески-счастливое измученное лицо и тоненькую шейку, на которой болтался автомат. — «Спрошу Санюру. Не захочет — сама пойду. Там впереди сражаются. Там фронт, и если я приду туда с винтовкой, меня наверняка не прогонят. Может быть, мне и недалеко придется идти. Ведь немцы где-то прорвались. Жалко, я не знакома с теми девушками, что пели на платформе. Их бы можно было уговорить. Они бы тоже пошли. Но они копали далеко от моста и не слышали, что говорил красноармеец».

Она посмотрела в сторону насыпи, но веселых студенток не увидела. Наверно, они уже вышли на шоссе.

«Ну и ничего. Я сама пойду, если Санюра откажется. Там впереди много бойцов».

— Жива, — снова кивнула она мрачному капитану, который второй раз прошел мимо её окопчика. «Слава Богу, не ранена. Но и раненая, всё равно бы осталась... «Если ранили друга, перевязет...» Ах, это всё не то... Это песня... А за рекой много оружия. Там, наверно, и раненые... Но раненых должен забрать капи-

тан. А я возьму только оружие. Винтовку. Жалко, что нас не обучали ручному пулемёту...»

Она посмотрела вслед капитану, но тот вдруг к мосту не пошёл, а вернулся к церкви.

«Надо от него спрятаться, не заметит. А вдруг за мостом раненые?.. Может, старичка попросить? Он увезет их к себе в деревню на тачке и спрячет на чердаке или в погребе. Нет, это безобразие! Почему капитан не забирает тех раненых?!»

Она хотела подняться, но ноги были какие-то не свои.

«Ничего, еще посижу... Пусть пока женщины уходят. Капитан должен всё-таки забрать с того берега красноармейцев. Наверно, туда поедет шофёр. Какой он молодец! Один не испугался. Стрелял. Хорошо бы он остался, а раненых повез в госпиталь капитан...»

— Чего лежишь? — склонилась над ней Санька. — Простудишься!

— Ничего, — слабо улыбнулась Лия. — Просто я жду. Мы же договорились... забыла?

— А, это... про винтовки. Брось и не думай. Давай подниму.

— Как хочешь.

— Пошли в церковь. Сумку нашу заберем и ведро. Сахарку насыпем.

— Иди, — сказала Лия. Она еле передвигала ноги.

Женщины быстро уходили с бугра. Некоторые несли раненых. Те стонали. Возле стены храма, где обрывалась задняя траншея, лежали две убитых поварихи. Сюда же, неловко таща, как бревна, принесли командира в полушубке и бойца, что прибежал с того берега за кашей.

— Хороша курточка, — кивнула на мотоциклиста Санька. — Никуда тебя не пущу, — снова обернулась к Лие.

— Иди, иди, — сказала та. — В Москве убивай своих пять немцев.

— Вот врежу сейчас, — рассердилась Санька. — Марь Ивановна! — крикнула, но не так громко, чтоб та слышала. — Вот сдам тебя сейчас, будешь тогда...

— Вот ты какая?! — не своим голосом прошипела Лия. Они стояли друг против друга, одна — ладная, рослая, другая — тощая, маленькая, готовые вцепиться одна в другую.

— Дура, — первой остыла Санька. — Да глянь на себя. Чего ты им сделаешь? На хвост соли насыпешь? Не видела, чего сейчас было?

— За рекой есть оружие, — упрямо повторила Лия.

За рекой было оружие, а еще дальше фронт, и второго такого подходящего случая уйти в армию, Лия знала, не будет. Она бы никогда потом не простила себе, если бы сейчас уступила Санюре. Может быть, ловкую, сильную Санюру и потом в Москве взяли бы в красноармейцы, если бы очень настаивала. Но худую, слабенькую, невзрачную на вид Лию наверняка бы забраковали. Нет, последний, единственный шанс записаться добровольцем — это было явиться в сражающееся подразделение с винтовкой.

— Я пошла. Прощай, — надменно кивнула подруге и, еле двигая ногами, спустилась к реке.

— Да стой ты! — схватила ее за плечо Санька.

— Раненые есть? Марш, марш... Быстрее уходите, — покрикивал с мотоцикла капитан. Он ехал вдоль самой воды, отгоняя от нее женщин, которые ополаскивались на дорогу.

— Уйди, — сказала Лия.

Капитан проехал дальше к железнодорожному мосту. Быстро темнело и становилось одиноко.

— Не пущу тебя, — вдруг заныла Санька.

— Тогда идем...

— Не, там мертвяки, — тянула Санька. — Я их боюсь... — теперь она выла, как ее детсадовские малышки.

— Иди в Москву, — беззлобно, скорей устало ответила Лия.

— Нет, — мотнула головой Санька.

— Уходи.

Снова приблизился стрекот мотоцикла. Капитан возвращался по ту сторону бугра.

— Заметит! — с надеждой вздохнула Санька.

— Пригнись, — дыхнула Лия и неловко кинулась к мосту.

— Вернешься? — пропела Санька. — Я тебя в церкви подожду.

— Можешь не ждать, — крикнула Лия, почти уверенная, что подруга останется.

Она потащилась через мост. Было темно и жутковато. Направо от моста, берегом шли старичок в балахоне и трое мальчишек.

«Надо бы окликнуть их, — подумала Лия. — Вдруг там раненые...» — но не крикнула, боясь, что услышит капитан.

Первого убитого она увидела сразу за мостом на развороченной взрывом булыжной дороге. Он выглядел по грудь из воронки, сжимая в руке обломанный черенок лопаты.

— Товарищ, — нагнулась она над ним и тронула за плечо. Он покорно и как-то чересчур легко повернулся, и она вдруг увидела, что он не засыпан, а обрублен по пояс.

— Ой! — задрожала она, но тут же какой-то безумной волей до крови закусил губы.

— Др-др-др! — тряслось, надрывалось в ней, как будто снова начиналась бомбёжка.

Не оглядываясь, она кинулась в лес. Тут было еще темней.

— Ра... Раненые есть?! — задышалась Лия, а сердце стучало, как барабанная палка. — Ра... Ра...

Она покачнулась, ударилась лбом о березу, обняла

её, прижалась и никак не могла оторваться от березового ствола.

— Раненые есть? — наконец спросила гробовым шёпотом. Никто не отвечал. Только с того берега еле слышно доносилось Санькино: «Лийка! Лийка!» — но отвечать не было сил.

16

— Чего таишься? — строго спросил Гаврилов. — Немцев, что ли, ждешь?

— Немцев? Скажете тоже... Подругу, — всхлипывала Санька. — За винтовками побежала.

— Что? — не понял он. — Какие винтовки?

— Обыкновенные. На тот берег за ними побежала.

— А ну вылезай, — разозлился Гаврилов. «Что они мне все заладили про тот берег?» — подумал с печалью. — Вылезай, вылезай, — повторил. — Там нет никого. Всех шуганул от речки.

— Врёте! — неуверенно обрадовалась Санька.

— Я тебе не Геббельс. А ну выходи. — Ну, где она, подруга? — спросил, когда Санька, подхватив кошёлку, вышла за ним из храма. Было совсем темно, холодно и с неба быстро сыпалась колючая крупа.

— Никого нету, видишь.

— Лийка! — крикнула Санюра. — Нет, она на тот берег побежала, — сказала Санька. — Лийка! — завывала снова. — Лийка! Документы её у меня. Сумка у нас одна на двоих. Лийка!

Гудел только ветер. В пустом черно-белом поле становилось страшновато.

— Лийка! Лий-ка! — несло над берегом. — Как же я! — заныла Санька.

— Бегите за ней. Пять минут даю.

— Нет — страшно... — испуганно зашептала Санька. — Я туда боюсь. — Лийка! Лий-ка!

— Да нет её там, — как мог уверенней сказал Гаврилов. — Я никого за мост не пускал. Лийка! — крикнул сам.

— Вместе пойдёте, — схватила его за руку Санька.

— Нет, — сказал твердо и вырвал руку. — Нет. — А слух его проникал в темноту: вдруг там раненые. Но никто не стонал, или стонал, но совсем тихо, и слышно не было. — Нет, — сказал он жестко. — Туда я не пойду. И её там нет. Со всеми ушла.

— А я как? — захныкала Санька.

— За мной садись. До переезда подкину. Вот бинокль повесь пока. И кошёлку подложи, а то набьёт...

— Ли-ий-ка! — крикнула в последний раз с мотоцикла Санька. Никто не отзывался.

— Держись, — сказал капитан, и «ИЖ» запрыгал вниз к дороге.

Теперь уже мело как следует. Снег летел прямо на мотоцикл, на его засиненную фару, и, кроме холода и резкого ветра, прохватывало ещё и жутью.

«Как на том свете, — подумал Гаврилов. — Как бы и вправду туда не загнеть». Теперь он уже не помнил о немцах, словно его от них со спины прикрывала теплая Санька, а глядел только за дорогой. «Поворот бы не проскочить. Ничего не видно. Всё белое». Но будка со шлагбаумом, задранным, как журавль, была на месте.

— Слезешь? — притормозил капитан. — Твои где-нибудь впереди. Далеко не ушли.

— Нет, нет, — уткнулась в него Санька, не разжимая на шинели своих крепких рук.

— А не набило?

— Обойдётся.

— Ну, тогда терпи. Сейчас серьезней трясти начнёт.

— Надо было вам дублёнку снять, —дохнула Гаврилову в ухо, словно подслушала его мысли, Санька.

— Ему холодней, — нехорошо пошутил Гаврилов,

а Санька вжалась в него и еще крепче обхватила руками.

«Вот и устроился, — подумал он. — Отлично провел операцию. Благодарность в приказе с занесением в личное дело. Натрясется девчонка, — вдруг переменял мысли и улыбнулся, сколько позволял ветер и колючий твердый снег. — Только бы квитанцию не потеряла очкастенькая... А может, опять дозвонюсь, объясню... Тепло от девахи!» — снова благодарно подумал о Саньке.

— Замёрзла? — повернул к ней щеку, перерезанную ремешком фуражки.

— Не, — повела она грудью за его спиной, и он это остро почувствовал через свою шинель и ее ватник.

— Терпи. Скоро доберемся. Нам на почту надо.

Ему хотелось с ней разговаривать. Снег теперь не так мешал — бил с правой стороны. На холме, при въезде в деревню, мотоцикл два раза потрянуло, как вчера «ГАЗ», но капитан не выпустил руль и, глядя на слабо черневшие в белом летящем снегу провода, отыскивал почту.

Было опять заперто, и в окне не светило. Гаврилов ударил в дверь, чертыхнулся, потом, взглянув на навесной замок, вспомнил, что под перильцем должен быть ключ. Ключ действительно оказался, и Гаврилов открыл почту. Мело по-прежнему. Через летящую крупу Санька на краешке мотоцикла казалась сиротливой и заброшенной.

— Прощу, пани! — крикнул он ей с крыльца. — Заворачивай. Я скоро вернусь. Тут близко.

«Только в яму не загреми, — сказал себе, забираясь в седло. — Тут под столбы рыли».

В третьей от края избе было тоже темно. Гаврилов толкнул дверь в сени, потом еще одну, ударился в темноте о стол и выругался как следует.

— Живой кто есть?! — закричал в темной, как шахта, избе.

— Чего тебе? — засопел в углу пьяный недовольный голос.

— Связистку...

— Нет ее. В районе. Провод где-то оборвали. В район потопала Глашка.

— А, чёрт, — вздохнул Гаврилов, вышел к мотоциклу и поехал назад по своему следу. У почты он слез, постоял немного на крыльце, поглядел на летящую крупу, а потом махнул рукой, снова завёл мотоцикл и потащил его вверх по ступенькам.

— Стучит, как примус. Теплей с ним будет, — сказал Саньке, но тут же выключил мотор, вспомнив, что от выхлопных газов можно намертво отравиться.

Санька сидела на корточках перед голландкой.

— А, да ты затопила уже? — то ли удивился, то ли обрадовался он.

— Там всё готово было, — сказала она.

Гаврилов оглядел комнату. В печке трещало, лампа горела, уходить отсюда не хотелось. «Да и куда в такую ночь? — сказал он себе. — Небось, тоже живые: до утра не сунутся... Смотри, — перебил себя. — А чего смотреть? В крайнем разе девчонка ни при чём, а я отобьюсь. Или пропадать мне по такой погоде с продырявленной дышалкой? Помнишь, что докторица про простуду предупреждала?» — Займемся техникой, — сказал вслух, чтобы отбиться от разных мыслей и три раза крутнул ручку. В телефонной трубке молчало. Тогда он крутнул ручку, не кладя трубки на рычаг. В ухо пошёл треск, и потом снова стало тихо.

— Где-то тут был сейф. Придется попробовать, — снова сказал вслух. — Согреваешься? — обернулся к Саньке. — Ноги не сожги.

Санька, скинув ботинки и подтянув повыше лыжные брюки, сидела у печки, сунув ноги в чулках чуть не в самую топку.

— Заботливый вы! — отозвалась она, не оборачиваясь.

— Был, девушка, был. Вот сейчас позабочусь об этой сберкассе, — хлопнул он по боку конторского ящика. — Эх, без привычки, но где наша не пропадала.

Он достал из мотоциклетного подсумка гаечный ключ. Замок не поддавался. Ящик ёрзал по полу.

— Иди сюда, — крикнул Саньке. — Пусть и тебя привлекут за соучастие. Садись на кассу. Так. Теперь вроде лучше. — Он взял полешко, поставил на висячий замок ключ, а сверху ударил полешком. С первого раза не получилось. — Тёплая ты. С тобой отвлекаешься, — пошутил он и ударил второй раз по ключу. Замок отскочил, а с ним и ушко ящика.

В кассе деревенской почты, кроме вчерашнего червонца, лежали еще несколько трёшек и рублевок и несколько длинных, узких не то книг, не то тетрадей, от которых отрывают квитанции. Кроме того, в ящике стояли две бутылки, заткнутые марлей. Одна — полная, другая — споловиненная вчера шофёром.

— Чудом не разбил, — удивился Гаврилов и поднес книги к керосиновой лампе. Его квитанция была аккуратно подколота булавкой. — Везёт тебе, политрук, — присвистнул он. — Семь бед — одна холера! Согреться хочешь? — обернулся к девушке.

— Могу, — откликнулась от печки Санька.

— Закусить только нечем. Или погляди, может, там, в шкафу? За всё сразу заплатим.

«А на что тебе деньги, политрук, — злобно и горько сказал себе. — Аттестат посылать всё равно некому. Почта туда вон так же работает...» — взглянул он на телефон. — Алло! Алло! — снова крикнул в трубку. — Ну и молчи. Не больно надо.

— Веселый вы, — засмеялась Санька. — Тут квашеная капуста. И картошка есть. Спечь можно.

— Ну и порядок, — повеселел он.

Печка трещала, крупа в лицо не била, квитанция за разговор была в кармане, и девушка уже собирала на стол.

«Надо будет — разбудят», — сказал он себе, присев на топчан, покрытый серым, шинельного сукна одеялом. И глядя на хозяйничающую Саньку, он уже видел, как по нотам, как по доминошным камням, когда вон вся игра у тебя на руках, как всё сейчас получится.

— Раненые есть?! — снова закричала Лия, и тут задуло, замело, и с черного толстого неба повалила холодная острая крупа.

«Я винтовок не увижу, — испугалась она и, перегибая себя, заковыляла к воронке. — Его закопать надо», — вспомнила с ужасом о красноармейце, но, вспомнив, уже не могла отступить и стала искать лопату. Лопат нигде не было. Она обошла воронку и тут же поскользнулась и упала во вторую воронку, уже не на дороге, хотя в ней тоже валялось несколько заброшенных взрывом булыжников; а когда стала выбирать из этой второй воронки, больно ударилась коленом о сошку перевернутого ручного пулемёта.

«Нет, тут должны быть винтовки, — чуть не плача от боли в ноге, успокаивала она себя... — Я сначала найду винтовку, а потом вернусь и закопаю красноармейца».

«Не вернешься», — твердил кто-то внутри неё.

— Честное слово, честное комсомольское! — вслух плакала Лия, пробираясь на ощупь между леском и берегом... На дереве что-то чернело. Лия вздрогнула, застыла, а потом разглядела, что это повисла на ветках развёрнутая, как парус, красноармейская шинель.

— Это, наверно, взрывом подняло, — сказала громко. — Им неудобно было рыть в шинелях... — и, вспомнив, что тот боец тоже был в гимнастерке, снова задрожала.

— Раненые есть?! — закричала истошно. Никто не отзывался. Она силой заставила себя снять с дерева шинель и набросить на плечи. Дрожь прошла, и сразу ста-

ло теплее. «Надо вторую найти, для Санюры, — подумала Лия. — И оружие... Главное — оружие...»

— А я про вас секрет знаю, — глотнув второй раз первача, вспомнила Санька, но тут же прикрыла рот рукой. Ей стало стыдно и как-то жалко капитана, а заодно и еще больше — себя. Она в первый раз была один на один и почти впотьмах с мужчиной, если не считать Витечки и папаши одного ребенка из детского сада. Тот, как-то последним придя за своим дошколёнком, которого еще раньше забрала жена, обнял Саньку в раздевалке и начал нешуточно трогать и вообще себе позволять. У него были бессовестные ясные глаза, а главное, крепкие властные руки. От этих рук она сразу сдурела и никак не могла отбиться. Но и он ничего не мог с ней поделать в раздевалке, потому что в других группах еще были дети и воспитатели, и сама директорша не ушла еще домой.

Два дня потом она боялась его встретить, но ребенка водила жена, а потом он опять стал водить, но к Саньке больше не приставал. Сперва это её обижало, потом злило, и она даже стала к случаю и не к случаю вертеться в раздевалке и даже нарочно однажды прошла совсем близко и мазнула его животом, а он только засмеялся и всё...

А Витечка оказался телком, таким же неопытным, как она сама, и хотя тогда всё случилось, но как-то непонятному, и радости никакой не осталось, а одно лишь не очень твердое сознание, что она уже не сопливая девчонка, а взрослая. И теперь, глядя на капитана и вспоминая, что про него говорила Марья Ивановна, Санька и верила ей и не верила, а сама чувствовала, что что-то будет и будет, — и ей было страшно, жутковато, но интересно, как никогда в жизни. И всё тело, растревоженное мотоциклом, ждало, ждало, а капитан, макая в соль печёную картошку, пил из стакана самогон, заедая квашеной капустой, и всё медлил и медлил.

«Может, и вправду инвалид?» — думала Санька и опять с ужасом вспоминала даже не бомбёжку, а то, что она видела во время неё: как её, Саньку, всю белую, голую, кладут в мокрую липкую землю. Её груди, плечи, живот засыпают червивой землей; плечи, груди, которыми она так любовалась, крутясь нагишом перед зеркалом, на зависть и назло Лийке, которая сама-то, верно, себя стеснялась.

Хороша я, хороша,
Когда вся раздета... —

распевала тогда Санька, подбирая живот и нахально крутя перед Лийкой пышными бёдрами.

И вот теперь вроде сама судьба так повернула, и привёз её сюда на мотоцикле, одну из трех сотен женщин, и надо же...

— Какие еще там секреты? — устало сказал Гаврилов. — Скинь брюки. В земле они. Спать будем.

Он сейчас глядел на себя словно со стороны, и не хотелось и стыдно было ему заводить всякие игры и уговоры. Настроение да и время было не такое. Он знал, что и без этого, под одеялом и шинелью, всё уладится.

Триста без малого женщин, растянувшись по шоссе больше чем на два километра, восьмой час брели под ледяной острой крупой, которая среди ночи вдруг обернулась дождём. Они сами толком не знали, куда идут — то ли в самую Москву, то ли просто поближе к ней, на другие окопы, и несли на плечах лопаты, а на них — кошёлки с крупой или сахаром, а у некоторых были еще и вёдра, тоже полные продуктов.

Было тихо. Поезда не стучали, самолёты не выли, никто не стрелял. Уполномоченная шагала среди последних, не подбадривая никого и не ругая. Она видела сейчас в себе, да и в других, такую безотказность, что приказали б повернуть всех, она бы их повернула, да

они и без команды повернули бы. А дали бы винтовки и приказали лечь в грязь, которая сейчас расползлась по всей земле, — легли бы и даже, не умея, стреляли. Потому что усталость, покорность и злоба были уже в них такого накала, что этой силы могло хватить (и хватило ведь!) на годы и годы, и еще бы детям осталось.

Но никто не приказывал им поворачивать, и винтовок тоже им не дали, и они брели по шоссе, тащили кошелки и ведра, пока в километрах тридцати от брошенной церкви их не остановили молодые парни на мотоциклах и в таких же дублёных полушубках, какой был на убитом лейтенанте. Они приказали им сложить вещи в придорожном бараке, а с рассвета, который пришел почти сразу, одним назначили рыть противотанковые рвы вправо и влево от дороги, а другим — рыть землю и насыпать ее в мешки. И женщины стали ковырять грязь так, как будто за тем сюда и шли, и не было никакой вчерашней бомбежки, ни колючего снега, ни тридцати километров шоссе под крупной и дождём, а была одна земля, сверху липкая, а снизу, как кирпич, и они жалели, что не прихватили с собой кирок и ломов, от которых сто лет назад на пересылке убегали, как черти от ладана. Всё было, как позапрошлый вечер и вчерашний день, только вот земля была сверху расклякистой, а снизу потверже; не было при них худого капитана и стеснительного шофера, а вместо чудного старичка в балахоне теперь всем управлял длинный и хмурый инженер третьего ранга.

— Ты что, девка еще? — удивленно спросил Гаврилов. Он уже обнимал её всю, открытую, радостную, покорную, нетерпеливую, поборовшую вдвоем с первым его отчаяньем, усталость, страх за семью и родину, и вдруг — на тебе...

— Нет... Не бойся, — жадно шепнула и прижала его к себе, притянула за плечи, а там, внутри, боль ожила, но была небольшая, зато сладкая, такая живая, родная боль, что сразу сняла всю тоску, всё томление, что зрели в ней почти два года. Они изнутри побороли Саньку; она думала, что умрёт, и с радостью готова была умереть, но вдруг не умерла, а усталая и веселая осталась на топчане, и с ней был капитан, и она целовала его в кислые от капусты губы.

«О, девки, я баба уже!» — радостно кричалось в Саньке, и хотелось вот так, голяком, выбежать на улицу и кричать на весь свет: «Женщина я! Я — женщина!» И плевать было, если скажут: «Так он тебе не муж!» — «Ну и пусть. А чего с их, с мужей? Вон мамаша как со своим алкоголиком мучилась. А я баба! И мужа мне не надо. Вот какое счастье во мне сейчас. А не муж, так всё равно мой. Вот захочу — обниму, прижму и не отпущу от себя. А? И глядите, зарьте, завидуйте!» — Капитан, капитан, улыбнитесь, — вдруг неожиданно для себя запела она, и Гаврилов не узнал ее голоса, такой он был другой, веселый, будто его долго прятали, таили, а он вырвался и хлынул, как весенняя вода с гор, и впервые за четыре почти месяца, с самого 22 июня, капитан Гаврилов тихо и счастливо засмеялся.

А километров по прямой за двенадцать, на том берегу, кутаясь в шинель, Лия ползла вдоль леса, ища лопату и винтовку.

— Санюра! — вдруг крикнула она, но при таком ветре вряд ли голос мог долететь до церкви. Надо было одной искать, и она искала и искала, забыв про боль в колене, зашибленном пулемётной сошкой. Винтовок не было.

«Надо взять пулемёт, — решила Лия. — Кажется, он для двоих. Я как-то видела его в осовиахиме. Может быть, разберемся». Она вернулась во вторую воронку и подняла тяжелый «Дегтярёв», закинув за плечо эту про-

тивную сошку-двуногу. Так, пошатываясь, она перешла мост и, обессиленная, закричала:

— Са-ню-ра!

— Ю-у-ра! — разнеслось по берегу, и больше никто не откликнулся. Лия опустила пулемёт на землю и кинулась к церкви.

— Санька! Санька! — надрывалась она. — Да не прячься, Санька! Санька, чёрт тебя побери! — сжала она кулаки, забыв все другие ругательства. Санька не отзывалась. На верстаке стояла керосиновая лампа, которую забыли погасить, но керосин, видно, в ней кончился — фитиль коптил и свету от неё было мало.

— Санька! — крикнула Лия, и только своды передразнили:

— Ань-ка-а!

«А сумка где?» — вспомнила она и, схватив лампу, стала шарить в церкви. Сумки не было. На полу валялись только пустые мешки из-под крупы и сахарного песка.

«Я схожу с ума, — подумала Лия. — Нет, я просто так долго там копалась, что она не выдержала и ушла. Ведь звала же она меня: «Лийка! Лийка!». Надо посмотреть на дороге».

Но на дороге, кроме ветра и колючего снега, никого не было. И Лия возвратилась назад, и хоть мело и холод был отчаянный, в церковь вошла только на минуту, чтобы взять два пустых мешка для обойм, и тут же побрела мимо траншей, ища лопату. Лопату она нашла и спустилась с ней к мосту, подняла ручной пулемёт и с мешками, лопатой и пулемётом побрела на тот берег. Глаза уже успели привыкнуть к темноте. Она нашла того красноармейца и стала засыпать его землей. Теперь он не внушал ей такого ужаса. Всё-таки он еще недавно был живым и, наверно, добрым, хорошим и отважным человеком. Он не бросил своих раненых товарищей. Она засыпала его землей, думая о том, что утром, когда рассветёт, она найдет и похоронит еще чет-

верых красноармейцев, а потом двинется с пулемётом на запад. С пулемётом ее еще скорей примут, чем с винтовкой. А те винтовки, которые она найдет утром, придется отнести и спрятать в церкви. А вдруг ей повезет — не вдруг, а обязательно повезет! — и в сторону фронта пойдут машины или танки, и тогда можно будет взять всё оружие и добраться в кузове или на броне. Только обидно, что Санька унесла сумку с паспортом и комсомольским билетом. Обидно, но это не смертельная беда. Лие поверят. Поверят. Она комсомолка. Можно позвонить в Москву, в райком или в домоуправление, или даже в библиотеку. Там подтвердят.

Было очень холодно, и надо было назад вернуться в церковь, но сил уже не было подняться, и, сунув ноги в мешок, Лия села на край воронки. «Посижу немного, — думала про себя, — а рассветёт — двинусь». И тревожась о непонятном и, наверно, таком капризном, но необходимом ей пулемете, она прикрыла его, как ребенка, вторым мешком.

«Но интересно, как он стреляет», — подумала тут же и приподняла мешок.

Сверху был круг; она знала, что это — магазин и в нем патроны, и, видимо, когда патроны кончаются, магазин снимают и ставят другой. Поэтому-то при пулемете два красноармейца: один стреляет, а другой меняет диск. Но бывает так, что остается всего один пулеметчик, и всё равно как-то ухитряется вести огонь. Вот здесь, кажется, надо нажимать. Это похоже как в обыкновенной винтовке. Но сначала надо установить эту двуногу. Есть такой плакат про испанскую войну. Мужчину убили, он лежит мертвый лицом к небу, а черноволосая девушка припала к пулемёту. Но там, кажется, другой пулемёт, с лентами «Максим».

Она стала в воронке на колени, вмяла сошку, прижалась к прикладу и надавила на спуск. Больно и радостно толкая ее в плечо, пулемет забрызгал пламенем в мокрую ночь.

«Какое счастье! Какое счастье!» — тихо улыбалась Лия. Она снова укутала пулемёт. И стала ждать рас-света.

Машина шла быстро. Останавливать её стали только возле самой Москвы и в самой Москве, а потом она намертво встала у госпиталя, и тут Ганя с нее соскочила и побежала с кошёлкой к трамваю.

— Ты откуда такая шахтерка? — спросила ее кондукторша, но Ганя только рукой махнула. Ей всё еще взрывами закладывало уши, так-такало пулемётными очередями и пугало стонами раненых бойцов и женщин. «Антихрист», — вспомнила она слышанное в давней молодости или даже в детстве что-то страшное и непонятное, наверное, вроде сегодняшнего, когда сверху та-рахтело и выло, а в тебе самой живот уходил аж в пах, рёбра сводились в пупке, и ты сама билась, как курёнок, пойманный для бульона.

Она ехала как во сне, хоть остановки не проглядела и пересела, где надо, на другой трамвай, а потом шла от Ильинских, тоже как во сне, но опять же парадного не перепутала и пешком поднялась на хозяйский этаж, отперла дверь общую, а потом обитую дермантином, хозяйскую, села в комнате на натертый пол и тогда уж во всю свою глотку и разнесчастную жизнь залилась криком и слезами.

— Ой, — голосила она, как будто сама умерла и сама же над собой заходилась плачем. — Ой, ой, — и всё время одно «ой», потому что голова уже других слов не понимала. Так, устав кричать, заснула на натертом паркетном полу и спала в пустой квартире до утра как мертвая, и утром пришла в себя, затопила ванну и долго скребла свое уже ни на что не годное тело. Но скребла она его и скребла, потому что твердо помнила, что говорили женщины в поезде. А потом отперла гардероб, надела Ринкину рубаху и Ринкино платье, — почти по мерке были — и села к окну подшивать ста-

рое хозяйкино демисезонное пальто. Надо было побыстрей управиться, чтобы успеть похлопотать о карточках и еще съездить на Икшу, может, есть письмо от племяншей, и опять же надо было в Кланькину больницу, узнать, жива ли. Словом, дел было теперь невпроворот, уши надо было держать торчком и на случай ходить мытой.

— Ехать пора, — сказал Гаврилов. За мутным серым окном лил дождь, но в комнате уже что-то можно было разобрать, и он сел писать записку связистке. — Посмотри, прогорело ли. Трубу закрыть надо, — кинул Саньке через плечо.

Она, большая, белая, вылезла из-под шинели, босиком поплыла к голландке и стала шуровать в топке черные головешки.

— Ух ты, — повернул он голову, глядя на рослую, здоровенную деваху и не веря, что это он всю ночь вбивал в неё все свои печали, всю тоску по жене и детям, горечь отступления, вообще всю беду этих четырех самых страшных месяцев, такая она была ладная, всё равно как нарисованная или слепленная, но не из глины, а из чего-то живого, мягкого и гладкого.

Она обвивала его сзади руками, он ткнулся ей затылком в крепкую грудь, но писать записки не бросил и только вслух сказал:

— Одевайся. А то голой увидят.

Она разняла руки, а он достал из кармана сложенной на столе гимнастерки две красные тридцатки и булавкой подколол их к записке, а потом вздохнул и подколол еще червонец.

— Быстро, быстро! — сказал вслух, но еще раз обнял Саньку, хотя уже небрежно, без той, ночной ласковости, и она почуяла, что радость выходит из её большого молодого тела, как воздух из проколотой волейбольной камеры.

Не отрывая пера от бумаги, он спиной почувство-

вал ее досаду и растерянно и ласково потрепал ее рукой по щеке.

— Да ты жаркий весь, — снова припала к нему Санька.

«Простудился», — подумал Гаврилов. — Одевайся, одевайся, — устало сказал вслух. Теперь его всего ломило. «Спасибо за мотоцикл, лейтенант», — зачем-то вспомнил он.

— Я — в момент! — крикнула Санька и бросилась к печке, где сушилась вся ее одежда, а он вытолкнул мотоцикл из почты, прогрел мотор, подождал Саньку, навесил замок и сунул ключ назад под перильце. Улица от долгого дождя вся расклякалась, колёса сперва буксовали, но он, вырулив, выскочил из этой Богом и чёртом забытой деревни за бугор, где их снова потрянуло, и поехал через поле на второй скорости, то и дело увязая в разбухшей колее.

— Уух-уух! — задыхалась за спиной Санька, теперь уже, как своего, обнимая капитана, а он покорно сжимал мотоцикл, который плохо слушался ослабевших, бившихся дрожью, словно не своих рук.

Но километра за полтора до переезда, где колея, петляя, лезла последний раз вверх, они увидели асфальтную дорогу, по которой гуськом, издали похожие на утят, тянулись в сторону Москвы немецкие танки. Первые два прошли уже переезд.

— Всё. Попали! — выдохнул Гаврилов и развернул мотоцикл.

— А вдруг Лийка не ушла! — заскулила Санька, как маленькая. — Ей в плен никак нельзя... Её убьют...

— Ушла, не хнычь, — ответил Гаврилов. Он был как в бреду, и только опасность помогала не раскисать.

Но ни он, ни Санька не знали, что, вся вымерзнув и вымокнув и задремав лишь перед самым рассветом, Лия только что проснулась от надвигающегося на неё рёва немецких машин и, увидев стоявшего по грудь в башне головной машины немецкого танкиста, не разду-

мывая, выстрелила. Пули отскочили от брони, и тут же заело магазин. Лия колотила по диску, а танкист захлопнул люк, и головной танк сполз с дороги и раздавил правой гусеницей ствол ручного пулемёта и рыжую Лиину голову. Это заняло у него не больше минуты, но другие танки успели проехать мост, и теперь головной шёл по шоссе восьмым.

Раненых подвезли к первому за заставой госпиталю (бывшей школе), которую указали на КИП. Тетка Ганя куда-то сразу исчезла, а Гошка, хоть и весь закоченел, не снимал с шеи заряженного автомата и вместе с госпитальными санитарками начал носить носилки. Потом их с водителем напоили горячим какао, и они поехали на улицу Горького. Там, в бюро пропусков, водитель долго дозванивался по телефону, а Гошка сидел рядом, но когда водителя, наконец, пустили наверх, какой-то сержант с петлицами внутренних войск ввалился в помещение и, ни слова не говоря, отобрал у Гошки автомат.

Гошка сидел и рыдал, как маленький, пока через час не пришел водитель и, усадив его в ледяную кабину, по дороге в гараж закинул домой. Дома тётка ахала до утра над Гошкой, а утром потащила на Казанский вокзал, где полным ходом шла эвакуация.

Почти до вечера, выбиваясь из сил, Санька и капитан крутились по раскисшим полям, не решаясь свернуть на шоссе, пока, озверев и изматеря мотоцикл, выбрались, наконец, на шоссе, а оно было перегорожено от танков настоящими ежами и мешками, набитыми под завязку землей и глиной.

— Вот тебе и «девочки и дамочки»! Вот и «ямочки не ройте»! — на минуту перебарывая жар, обрадовался Гаврилов.

— Что? — не поняла Санька.

— Да так, частушка одна, — сказал он тихо, и она

не расслышала. Мотоциклист в белом, но уже заляпанном грязью полушубке проверил документы и пропустил их за ежи, но тут из-за мешков кинулось к ним несколько женщин, а впереди была Марья Ивановна, уполномоченная.

— Вот вы где?!

Санька спрыгнула с багажника и бросилась ее обнимать так, словно были родными сестрами, или хотя бы дружили с самого детства, а Гаврилов поехал дальше, но тут же притормозил и подождал, подбежит ли Санька попрощаться. Но Санька, несчастная и пришибленная, стояла среди женщин и двинуться не могла с места или стеснялась.

— Рыжая где? — спросила ее уполномоченная, но Санька не ответила и уже хотела кинуться к мотоциклу, но капитан не стал ждать и поехал в Москву. Он вдруг вспомнил, что с детьми и Симой не простился, ему стало не по себе, и он выжал педаль до отказа. Мотоцикл взбрыкнул, как необъезженная лошадь, и помчался по шоссе. Жар ломал Гаврилова и обида грызла оттого, что не он тут командует. Без него полным ходом идёт работа, ежи привозят, канавы роют, мешки, как на Малаховом кургане, набивают землей. А он, сердобольный армейский капитан, гонял ради пшённой каши «газик» за сто километров, вот что получилось.

Понимая, что больше уже простудиться нельзя, он ехал быстро, а навстречу вместе со старой песней «От голубых уральских вод» двигалась рота курсантов. Он притормозил на обочине и глядел на них. Они шли в чистых шинелях, не обросшие, молодые, но какие-то чересчур худые, будто заморенные, и он тут же представил, что будет с ними завтра.

Но тут за курсантской ротой, обгоняя ее и притесняя к обочине, прошло с десятков грузовиков с красноармейцами в кузовах и прицепленными сзади орудиями, и Гаврилов опять оборвал себя:

— Да что ты — собес, что ли? Жалость, жалость? А

что жалостью можно? Тут сила на силу. — И он вновь вспомнил своих женщин, которые сейчас долбили землю за противотанковыми ежами. — Эх, гром не грянет — мужик не перекрестится», — горько подумал он в бреду, быстро перескакивая с одной мысли на другую.

— А ты, Гаврилов, готов. Жаришься, как в парной! — сказал себе вслух, пригибая лицо от летящего навстречу колючего, смешанного с пылью ветра. — Зато Москва цела. Адольфа перед ней угробим, — сказал и вздрогнул, потому что то же самое он сказал позавчера днем, когда рядом с ним сидел студент-водитель.

И оттого, что тревога за Москву отступала, стала еще сильнее болеть душа по семье, Симе и детям, которым он ничем помочь не может.

— Еще поблагодари, если простуда оставит живым, — бормотал как в бреду. — Перекрестится... Так не мужик... И не русский ведь... Брось, брось, — снова оборвал себя. — За дорогой гляди. Скользко.

У заставы опять спросили документы. Он вытащил их вместе с накладной и тут же вспомнил, как отоваривался пшеном и сахаром.

— Слышите, младший, — спросил возвратившего бумаги дежурного, — что позавчера за важное сообщение передать грозились?

— Какое? — недоуменно поглядел младший лейтенант.

— Ну, такое... С утра обещали, а потом откладывали...

— А!.. — засмеялся дежурный. — Про то, как теперь будут работать бани и парикмахерские, — и провел себя по молодым красным щекам, как бы приглашая небритого капитана потрогать свои.

— В госпитале побреют, а то и обмоют, — махнул рукой Гаврилов и поехал дальше. Он чувствовал, что температура в нем уже перевалила за сорок.

СТИХИ

Василий Бетаки

* * *

ПАМЯТИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Солдаты ушли купаться,
Но бдительны и строги,
Как символ всех оккупаций,
В строю стоят сапоги.

По берегу ровной ротой,
Четыре шеренги в ряд,
Начищенные до рвоты —
Одни сапоги, без солдат.

И каждый — подобье танка.
(От пары до пары — шаг.)
На каждом висит портянка,
Но это — не белый флаг!

Солдаты ушли купаться.
И пусть — по воде круги —
Живет божество оккупаций,
Чёрные сапоги!

Да разве в солдатах дело?
(Чётко сапог стук.)
К чёрту солдатское тело —
Важно только каблук!

По городам и травам
(Чётко шагов счет.)
— Рррота! Ррравненье! Право —
е голенище — вперед!

Кормёжку живым болванам?
(Чётко стучат шаги.)
По мраморам и тюльпанам
Без них пройдут сапоги.

Пройдут, протопают тяжко.
(Чётко шагов счет!)
А впереди — фуражка,
Покачиваясь, плывет...

Август 1968, Петербург

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

В. Т.

- Послушай, а может быть, это — зря?
- Что?
- Неожиданно брошенный город, брошенные дела, по совести говоря...
- Молчи! Там светились в ночи озёра, озёра, похожие на моря!
- Скажи, ты мечтал о полумраке кают? С ней от всех закрыться мечтал?
- Молчи! До отплытия за пять минут я сам ничего не знал...
- Но послушай... когда ты поднялся по трапу, она опять была рядом с тобой?
- Да.

СТИХИ

- Наверно, она стояла у борта, и волосы свешивались над водой...
- Очень темной была вода...
- А там, за озёрами, русалки поют?
- Поют...
 - но были так плотно задёрнуты занавески
 - в квадратных окнах кают,
 - что мы не слышали, как русалки поют
 - на островах меж лобастых круч...
- А правда, что люди там боятся и ждут, что вспыхнет Зелёный Луч?
- Да...
- А Луч — был?
- Да. Зелёный и тонкий. Цвета просвеченного листа...
- А ветер?
- Что — ветер! Он валялся в забытых шезлонгах, когда палуба была предрассветно пуста, когда над самым флагом кормовым сносило узкий дым, и плащ срывало у нее с плеча...
- Но перед рассветом так холодно на палубе...
- А рассвет — как поворот ключа!
- Ты что-нибудь говорил ей тогда, на палубе...
- Тот, кто говорит, — не увидит Луча...
- Но зачем тебе этот Зелёный Луч?
- Не знаю... Лучше не мучь меня вопросами... Говорят, что это — меч, а не Луч...
- Его называют Мечом Голода!
- Нет, он зовётся иначе...
- Но его называют Мечом Голода!
- Нет, это Луч Удачи:
 - моряки говорят, что всё нипочём
 - кораблю, который прошёл под Зелёным Лучом...

- А вот поморы твердят, что не будет улова тем,
кто пройдёт под Зелёным Лучом,
что карбасы пустыми вернутся, и снова уйдут...
- Да о чём ты?
- О чём?.. Ах да — его называют Мечом... Мечом
Голода,
и чем зеленей, тем злей...
- Но зелёное никогда не сулит голода...
- А если — по ней?
По её глазам, по её плечам...
А впрочем, не верю никаким лучам:
я видел сосны и валуны
едва ли выше волны,
я видел воду, а где-то за ней
плоский, как блин, один —
островок деревянных церквей...
- А ты в них входил?
- Входил.
- С ней?
- !

Мудро пусты, лесисто пусты
северные скиты,
узкий, как лезвие, свет из окон,
и никаких икон,
и никаких алтарей внутри,
и никаких колец,
и в щели — звёзды, как фонари,
да совсем не зелёный лес
ночью...

- Ну, а Зелёный Луч?
- Не знаю... Лучше не мучь...
- Ведь его называют Мечом Голода?
- Нет, он зовётся иначе.
- Но его называют Мечом Голода!
- Нет, это — Луч Удачи...

- Так правы моряки?
- Не знаю. Молчи.
- Или правы поморы?
- Не знаю. Молчи... Но мне никогда не найти ключи
от всего, что было в озёрной ночи,
от рассвета, от этих округлых рук,
от горизонта, замкнувшего круг,
от пенья русалок, от тесных кают,
от ветров, что в борах над скитами поют,
и от того, что удача всегда
почти то же самое, что беда.

И никогда
не найти мне ключей
к тем, кто не видит Зелёных Лучей...
Ну а поморы и моряки —
равно от истины далеки...

1968, Петербург

* * *

Где-то там — ночная питерская тишь...
В окна мне глядит Юпитер из-за крыш...

А в Воронеже — вороны на крестах,
У них чёрные короны на хвостах.

И растаяло созвездье Гончих псов,
И пластается туман из-за лесов,

Где молчит, как Берендеева страна,
Вольной Вологды белесая стена.

А за ней — морозцем тронутая ширь,
Там затерян Ферапонтов монастырь,

Там, над озером, где низкая трава,
Тают в воздухе неспетые слова,

Цвет лазурный не отдавшие зиме,
Дионисиевы фрески в полутьме.

Там, в приделе, за безлюдный этот край
Заступись ты, Мирликийский Николай!

За осенний, за желтеющий рассвет...
Помяни, что мне туда — дороги нет,

Помяни, что в граде Китеже живу,
Только воду осязаю — не траву...

Помяни, что я молился за леса
И над озером тугие паруса...

Ты, взлетающий в подкупольную высь,
За меня, святой Никола, помолись...

1974, Париж

МЫ — ИЗ КИТЕЖА

Н. Н. Р.

В граде Китеже, в граде Китеже, на безлистом, йлистом
дне...
Погодите же! Погодите же! Слышен колокол в тишине!

В граде Китеже, в граде Китеже, где намокла дневная
мгла,
Не разбить вам, не заглушить уже, не достать вам ко-
локола!

СТИХИ

И когда забудет о розовом и нахмурится верх лесной,
Над изломанной

гладью озера

станет ветрено под луной,

И стеклянные волны призмами вновь подставят бока
лучам.

Мы — не призраки, но как призраки

Подымаемся

По ночам!

За сараем в собачьем лае

(Мол, хозяин, возьми с собой!)

Мы опять вороных седлаем

И опять — в безнадежный бой:

Крепко взнуздываем надежду и накидываем плащи

И выходим на берег между двух осин — и ищи-свищи!

Ну а в Китеже, ну а в Китеже ночью молятся и о нас:

«Разбудите же, разбудите же хоть кого-то на этот раз!»

И когда поезда гремящие, обогнав нас, трясут мосты —

Разгляди, что мы — настоящие, что совсем такие, как
ты!

Тонет звёздный свет в гриве лошади,

Старый дуб в ночи крутит ус...

Дай мне, Господи, крошку прошлого,

Я пойму теперь его вкус!

К дому дом ощерившись лепится, словно вздрагивает
во сне,

Перепуганные троллейбусы прижимают уши к спине;

По асфальту, где окна спящие не расслышат копытный
гром,

Мы проносимся — настоящие — и скрываемся за углом.

Отряхните же, отряхните же наваждение хоть в этот
раз!

Мы — из Китежа, мы — из Китежа, мы сегодня разбу-
дим вас!

Заблудиться в пятиэтажии,
До утра не найти свой дом,
Где всеобщую распродажею
Вам грозят за каждым углом,
Где на улицах и вокзалах
В кумаче — ордынская вонь...
Где в церквах гаражи, пожалуй, потому, что не в моде
КОНЬ...

Вы — не младше нас,
И не старше нас —
Так не плюйте в нашу тоску:
Не умели мы — под татарщиной,
Не хотели — в аркан башку!

Души съедены, сосны спилены, вместо птичьего —
свист хлыстов...
Оттого-то и затопили мы всё от папертей до крестов,
Затонули мы вместе с Китежем
И поэтому — вас живей!
Отворите же, отворите же! Вот мы спéшились у дверей!

В ваших комнатах, в ваших комнатах,
Там, где страх, как столетье, стар,
Мы напомним вам, мы напомним вам
Всё, чем жили вы до татар,
И о Китеже, и о Китеже — ибо мгла его не смогла...
Ну проснитесь же, ну очнитесь же!
И услышите колокола!

1974, Париж

Пьяницы

Рассказ

...И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.

А. Блок

1

— Сколько их было, Витёк, человек тридцать, наверное, было?

— Какой тридцать! Пятьдесят, если не больше.

— А нас десять.

— Считай — девять. Петьку-то Пьяньчужку мы с вещами оставили.

— Да, Пьяньчужку оставили. А от Очкарика тоже толку мало.

— От Очкарика какой толк! Ему как дали по очкам — мы дрались, а он очки искал.

— Это ж надо! Десять человек поехали посёлок лупить. Отчаянная вылазка.

— Не десять, а девять. Петьку-то Пьяньчужку мы с вещами оставили.

— Ну да...

Автор этого рассказа — молодой талантливый писатель, отказавшийся идти проторенным путем советских писателей, членов СП. Тяжелым трудом обеспечивает он себе не только кусок хлеба, но и свободу мысли, слова и творчества. — Ред.

— Стоим мы в кустах, а они идут. И фонарём мне в глаза. А я рукой загородился и говорю: «Ну, мужики, подходите».

— Да, это ты здорово!

— Главное, им было меня найти. Вас-то они не запомнили. Смотрю — идут. Тот Валерка, и с ним еще двое. А вы стоите — оторопели. Они через вас насквозь проходят. Еще шаг им до меня. Ну, я выхватил цепочку и — на них. Смотрю — они и побежали.

— Пятьдесят от десятерых!

— От девятерых. Петьку-то Пьяньчужку...

— И ничего мы не оторопели. Мы их специально заманивали.

— Ну, ты из себя Кутузова-то не строй. Тож мне Эдуард Стрельцов.

— Козёл!

— Я дам — козёл!

— Да ладно вам, ребята... А Лёха с перепугу мне цепочкой по шее заехал. Я цыкнул на него и дальше дерусь. А он ходит за мной и хнычет: «Толь, прости, Толь!..» Тут драка идёт, а он ходит.

— Де Голь! Вы забыли свои обязанности.

— Пардон, друзья, разливаю... Но оцените, какова точность.

— Друзья, по-моему, у де Голя не глаз, а ватерпас. Кха, кха.

— За де Голя!

— Урря!!!..

— А всё-таки такой дружбы, как у нас, нигде нет... Профессор, закусывай, — сказал Толик.

— Нет!

— Нет!

— Нет!

— Вот жизнь и показала, кто есть кто. Пусть они жиреют, пусть женятся, пусть щенков плодят. А всё

ПЬЯНИЦЫ

равно они — скоты. У них твое — мое. А у нас всё общее. Правда, Витёк? — сказал Толик.

— Толик! Если тебе понадобится моя жизнь, приходи и возьми её.

— Ишь ты, какой красавец. Нет, это ты приходи и бери.

— Ну, дай же я тебя расцелую! — Чмок. Чмок.

— Ну что, весельчаки, гимн?

— Гимн!!!

— Профессор, сядьте, пожалуйста, за фортепьяно.

— Красавцы! Третья струна несколько дребезжит!

— Профессор?! Какой цинизм! Профессор, вы слышали? Мы говорим про гимн!

Искры камина горят, как рубины,
И улетают с дымком голубым.
Из молодого, цветущего, юного
Стал я угрюмым, больным и седым...

Гитара была расстроена, играл Профессор скверно. Они пели...

— Де Голь!!!

— Спокойно, раз-ливаю!..

— Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу станет веселей... Хорошо мне с вами, ребята! — сказал Толик.

— Толик, вдарь «Чёрного»!

— «Чёрного»? Можно. Сейчас настроюсь... Де Голь, налей...

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Чёрный человек,
Чёрный, чёрный,
Чёрный человек
На кровать ко мне садится,
Чёрный человек
Спать не даёт мне всю ночь.

.

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковёркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

- Толик, у тебя душа!.. Я пла́чу, Толик!
 - Толик, приди и возьми!
 - Де Голь!!!
 - После этой вещи у меня трясутся руки. Разли-
вайте сами, ну вас совсем... Я пла́чу, Толик!..
 - Ребята, я больше не могу пить!
 - Профессор! Ты нас обижаешь!!!
 - Ребята!..
 - Пей!
 - Пей!
 - Пей!
- Профессора рвало. Вечер кончился.

Была весна. Воздух был тёплый, как Чёрное море. Люди сняли пальто и стали немножко лучше. Только не они. Они не допили. Больше негде было достать. Они стояли у метро и щурились. Девушки показывали весенние части своего тела. У трамвайной остановки девушка смотрела в книгу. В книге была нарисована челюсть. Толик отделился от товарищей.

— Кхе, кхе. В этом пособии неправильно изображена структура остроконечной мышцы, — сказал Толик.

— Я не знаю такой мышцы, — ответила девушка.

— Ну, этой мышцы вам пока не преподают. О ней знает только высший профессорский состав, — сказал Толик.

— Вы — профессор? Как ваша фамилия? — спросила девушка.

— Профессор Зильтбертштейн. В простонародье — просто Толик Прокурор.

— Никогда не слыхала про такого профессора.

Другая бы сказала: «Пошёл ты знаешь куда?» Но трамвай подошёл. Девушка приготовилась садиться. Голос у девушки был грудной. «Таким, наверно, очень стыдно, когда их раздевают, а потом — всё нипочём», — почему-то подумал Толик, но ему надо было возвращаться к ребятам. И он застеснялся, и повернулся к девушке спиной, и отошёл к ребятам.

— Давай, Толик.

— Можно?

— Действуй.

— Вы только не обижайтесь, богатыри.

— Вон отсюда. До чего ты нам надоел.

— Спасибо, друзья!

Трамвай закрыл двери. Толик забарабанил, и его пожалели. Толик растрогался и взял билет. Девушка сидела одна. Но на свободное место уже нацелилась старушка.

— Апчха! — громко чихнул Толик. Старушка испугалась. Толик сел.

— Можно, я с вами сяду?

— Можно, раз сели.

— Девушка, правда, вас зовут Галя?

— Правда! Откуда вы меня знаете?

— Сегодня я видел во сне, что подойду к метро в... двадцать минут первого и встречу вас. И будете вы в синем плаще, а зовут вас Галя. И что вы почти такая же красивая, как я.

— Ой, нахал какой! Никогда бы не подумала, что такие бывают.

Толик увидел кольцо на правой руке.

— Так вы замужем?

— Да... Нет. Сейчас нет.

— Слава Богу!.. «Женщина может одним словом прихлопнуть человека, как ядовитую букашку, а другим — снова оживить его», — сказал Пикассо.

— Вы любите живопись?

— Стихи больше. Есенина. Знаю наизусть.

— Стихи любите, хоть и пьёте эту гадость. Он не пьёт. Он офицер, но не пьёт, а над стихами смеётся. Я всегда любила стихи. Но там считают это странным, улыбаются, как на ребёнка. И на работе тоже. И я стала тоже думать, что это у меня странно...

— Можно, я вас провожу?

— Вам не жалко своего времени?

— Мне жалко! Я, может, только сейчас и провожу его как надо.

Они вышли у Павловской больницы.

— Вот здесь я работаю. До свидания?

— А когда оно будет?

— Не хочу, — сказала Галя грудным голосом.

— У вас травма? Это пройдёт. У меня это было. Встретьтесь со мной, пожалуйста, убедительно вас прошу. Я очень неплохой человек. Вы увидите.

— Какой вы чудный! Ну, хорошо. Я приду в суб-

боту в три часа к Новокузнецкому метро, хотя бы только для того, чтобы сказать, что больше не приду.

— Ладно, ладно. Только приходите. А там вы и уходить не захотите. Придётся вас прогнать.

— Посмотрим, нескромный.

3

— До завтра.

— А говорила, что придёшь, чтоб сказать, что больше не придёшь.

— Ой, противный! Не мог, чтоб не напомнить. Но и прогонять меня не пришлось. И нечего нос задирать.

4

— ... Придёшь? Мои друзья будут. Витёк, де Голь, Профессор. Профессор застенчивый такой. Ты увидишь. Они тебе очень понравятся.

— А я им?

— Ну, ты. Кому ты можешь не понравиться? Еще придется драться из-за тебя с де Голем. Он у нас главный насчёт вас.

— А говорил, у вас на женщин времени не хватало.

— Так то на женщин! А на этих, которые с нами водку пили и кильками закусывали, и не стоило де Голю стараться. «Пардон, — говорит, — не соблаговолите ли вы прилечь, со мной, в частности, на этот полк?» — А та глазищи пьяные выставит и не поймёт, чего от неё хотят. Она собиралась ложиться, а тут разговоры какие-то непонятные.

— И после этого ты остался таким чистым, даже не верится. Сколько же тебе исполнится?

— Много. Двадцать семь.

5

— Привет. А где ребята? Я так боялась. Они опоздают?

— Они не придут.

— Как не придут?

Толик протянул Гале записку. На записке было написано печатными буквами: «Скотина!»

— Вот так. Считают, что я их предал. Я слишком много времени провожу с тобой. А ведь я больше всех горло драл, что мужская дружба превыше всего.

— А теперь ты раскаиваешься, да?

— Нет. Я только сейчас понял. Мы никогда не были друзьями. Мы только вместе пили. Русский человек не может пить в одиночку. А все наши громкие слова — это только пьяный крик. Мне казалось, у нас всё общее. Каждый из них пропивал со мной тридцать — сорок рублей. Но когда мне нечего было есть, никто из них не давал мне и полтинника. Это считалось признаком плохого тона. «На хлеб не даём...» Ну и ладно. Попробую жить один. Ну скажи: «Я буду с тобой». И мне больше ничего...

— Я буду с тобой, — прошептала Галя. Сладкая тошнота ударила в голову. В ушах зазвенело...

6

Они лежали на одном диване. Они были укрыты одним одеялом. Они почти не дышали. Они ничего не чувствовали. Они были счастливы.

7

ПИСЬМО

Толька! Ты скажешь, я — дрянь. Но я не виновата. Я люблю тебя, Тольку, милого Тольку! Но я тебя обманула. Я живу с мужем. Нет, я с ним не живу, а сплю.

Ты думаешь, это одно и то же? Нет, милый! Честное слово, нет. Когда любишь, да. Когда не любишь, но ты должна с ним спать, это ещё усиливает отвращение. Ты спросишь, почему же я от него не ушла? А сын мой, Толя. Я не должна, я не имела права с тобой встречаться, ещё больше я не имела права тебя полюбить. Теперь я должна тебя вычеркнуть. Я должна задушить в себе всё человеческое — стать рабой, машиной, животным. Задушить своё отвращение к мужу. Ради него, ради сына. Ведь я дала ему жизнь.

Но, Толик, я не могу! Я хочу жить, как мне хочется, и имею право жить, как хочется. Нет, не имею. Ничего я не имею. Я просто гадкая пустая баба. И виновата и перед тобой, и перед Алёшкой, и перед мужем. Прости меня, Толик! Я знаю, ты больше не захочешь со мной встречаться. Прощай! Но я не могу, не хочу, чтобы так! Пожалей меня, Толик.

8

— Так почему же ты не ушла?

— У Лёшки должен быть отец.

— Лёшка, Лёшка, заладила! Врёшь ты! Можно жертвовать здоровьем, можно жертвовать деньгами, а душой — нельзя, ты это понимаешь? Да, конечно, понимаешь! Нельзя пожертвовать своим отвращением. Ради кого бы там ни было — сына ли, рассына, внушки, правнучки! Это — проституция, а не жертва. Ты что ж думаешь, если ради того, чтобы у него игрушек было больше, пойдешь на три вокзала и будешь себя предлагать, он тебе что потом?.. И почему другой человек не может стать Лёшке отцом? Неужели ты не понимаешь, что мне противно делить тебя с твоим мужем? Если б ты была для меня приключением, тогда я, может быть, гордился, что мужу рога наставил. Но ты для меня больше, ты это хоть понимаешь?

— Хорошо...

— А почему раньше не уходила?

— Боялась. Ты понимаешь, как страшно остаться совсем одной и никому не нужной? Будут у тебя мужчины, но им будешь нужна не ты. Они будут пользоваться тобой и бросать. А ты будешь стареть. А впереди у тебя старость и пустая комната. А мой муж по-своему меня любит.

— Это уж на торговлю похоже: как бы не програть.

— Не говори так, милый. — И прижала его к себе. Толька обмяк.

9

— Ну, вот и всё. Ну, чего ты?

— Мне жалко твоего мужа.

— Да. Он меня очень любил. Говорил: «Всё прощу», — когда уходила.

— Какая у тебя нехорошая улыбка на лице. Тебе приятно, что он унижался?

— Да, приятно. Я — женщина. Ты — мой муж, как будто я и не жила с ним шесть лет.

— Да, вы добры, когда вам нужно. А когда всё равно, на трупе будете сидеть и в зеркало смотреться... Эх, вы. Мне одна рассказывала, как из-за неё повесился. Тоже улыбка была на лице, как у тебя.

— А вы... Вы — жалкие, подлые, склочные трусы. Мы-то хоть любить умеем. Конечно, где вам быть жестокими, когда вы добрыми-то не умеете быть. Вот ты упрасивал меня с тобой встретиться. Когда я пришла, из тебя блаженство сочилось. Ты ж сам с собой сделки заключал: «Она придёт, и больше мне ничего не нужно». Ну, я пришла, и тебе этого мало стало. Теперь тебе до полного счастья поцелуя не доставало. Потом ты увидел, что я хочу, чтоб ты меня поцеловал. Ты поцеловал. Стал ли ты счастлив? Нет. Опять самую малость. Чтоб со мной переспать. Было ли тебе тогда противно

делить меня с моим мужем? Чем дальше, тем больше. Когда ещё одно твоё желание сбылось, ты опять не сказал судьбе: хватит. Теперь счастье твоё отравляло, что я принадлежу тебе только днём. «Долой мужа!» — сказал ты, по обычаю прикрыв это самыми гуманными соображениями. Ну и что ж? Всё вышло по-твоему. Теперь ты счастлив? Нет. Ты вспомнил вдруг о любви к людям, и казнишь меня теперь, что моё счастье выросло на несчастье мужа. Причём обвиняешь только меня! Причём забываешь, что если я его пожалею и уйду от тебя, тебе опять будет плохо! Все вы такие. Вы жадны. Вы никогда не скажете: хватит. Вы неблагодарны, вы никогда не скажете: спасибо.

— Галка, я — скотина!

— Ну, поцелуй меня. Сегодня наша первая ночь. Только сигарету брось...

— Теперь ты счастлив?

— Даже говорить не хочется.

— И мужа не жалеешь?

— Жалею.

10

Толька проснулся и протянул руку. Галка лежала с открытыми глазами и смотрела, как он спит.

— Ты не ушла. Я думал, проснусь и ничего нет. — Она ничего не сказала. Только погладила его рукой по щеке. Он эту руку поцеловал...

Толька проснулся и протянул руку. Простыня тёплая.

— Этого не может быть, это неправда, — зашептал Толька. — Что же это? Зачем это? Я ж не могу так? — спросил Толька и закрыл глаза. А когда снова открыл, Галка ставила на стул завтрак и кофе.

— Чтоб не курил натошак. — И застеснялась.

Только этого не знал. Только было хорошо. Он хотел, чтоб и всем было хорошо. Ему было так хорошо и так жалко, что если б можно было, он бы согласился, чтоб у Галки было два мужа. И жили б они все вместе, семьёй, а на стене висело бы расписание. Только рос без родителей.

Только работал помощником машиниста. Двенадцать часов без Галки. Работа была нудная — вагоны сортировать. Только думал о Галке.

— Проход есть? — крикнул машинист.

— Есть! — ответил Только не глядя, и они врезались в вагон.

— А- а-а-! — кричал машинист и махал кулаком. Только всё было нипочём...

— Галка, а меня на три месяца в слесаря разжалуют. Мы вагон разбили.

— Бедненький! У тебя неприятность, а я рада. Я тебя так ещё больше люблю.

На другой день она поехала в детский сад за сыном. Только должен был стать отцом. Она не вернулась. Пришло письмо.

11

«Толя, боюсь, что ты не станешь читать этого письма. Как тебе сейчас тяжело, милый мой, но у тебя хоть есть возможность злиться на меня, ненавидеть. А я? Я чувствую себя как убийца, который убил очень родное. Я задушила нашу любовь. Прости меня, милый, умоляю тебя, прости. Я всё плачу, говорят, что слёзы облегчают боль, а её всё столько же. Вчера ты нас ждал, а я лежала на диване и редела в голос. Оценит ли когда-нибудь мой сын, какую жертву я принесла ради него? Позавчера я приехала в сад, а Лёшу уже забрал домой Гриша, и я поехала к ним. А вчера ве-

чером я совсем вернулась. Ехала и очень хотела, чтобы разбилась машина и я вместе с нею. Ведь бывают же такие счастливые случаи с другими, которые почему-то называются несчастными.

Вот я и снова среди всего старого, привычного. Постельное белье в строгой стопке уляжется на своём старом месте, платье повиснет на плечиках в своём уголке, фотографии лягут в старые гнёзда. Я запасу дежурную улыбку на лице для соседки, которая придёт одолжить соли, буду до блеска натирать полы и стирать пыль с мебели, а в сердце спрячу от посторонних глаз свою боль. Она будет сосать меня, точить, как червь. И опять, как раньше, мне захочется завывать по-волчьи. Ах, время — лекарь. Я очень жалею, что не сдружилась с твоими друзьями. От них я хоть изредка могла бы узнать о тебе... Не презирай меня, Толька. Прости, если можешь. И если сможешь простить, тогда выполни одно моё желание. Это последняя просьба, не откажи мне. Мне сейчас так тяжело и, думаю, намного тяжелее, чем тебе. Ведь я сама, своими руками... А желание вот в чём. Я хотела связать тебе свитер. Белый тебе мал, но это долго, а я хочу подарить тебе свой красный. Он очень яркий, но тебе пойдёт. Я буду счастлива, что мой свитер греет тебя. Это — моя глупость, может, тебе странно, но я буду очень рада. И ещё. Пошли мне свою фотографию. Пусть будет у меня хоть эта радость. Он разрешит, а если не разрешит, я всё равно сохраню её. У меня на это очень мало надежды. Но если можешь, я очень прошу. Прости меня, хоть бы немного улеглась эта боль.

До свидания, милый. Я никогда больше не увижу тебя и твою неповторимую манеру курить. Ты так сладко куришь, что я всегда ревновала тебя к сигарете. Толька! Что я сделала! Может, я всю жизнь буду жалеть о сделанном. Как моя мать и как многие другие женщины. Но долг матери — инстинкт защиты своего

щенка. Прости меня, милый, мне тяжело вдвойне. Галя».

— Свитером хочешь откупиться от меня, гадина!
— сказал Толька, и засмеялся, и поехал к друзьям.

12

— А, Анатолий! Даёшь свадьбу, прохвост?

— Нет, не даю. Примите блудного сына. — И поклонился.

— Наконец-то! Мы долго ждали, Анатолий. Мы всё-таки верили в то светлое, что у тебя было. Де Голь! Стаканищев! Дал пичищу?

— Она мне дала.

Толик выпил и рассказал, и письмо прочёл.

— Инстинкт щенка, инстинкт щенка! Деньги офицерские ей нужны, а не щенок! Ну чего ей с тебя взять? Стул и топчан? Но всё же молодец она баба, что вернула нам красавца. Друзья! За Гальку, офицерскую жену!

Толик выпил. В глазах у него стояли слёзы. Друзья были рады и не скрывали своей радости. Толик заплакался навзрыд. Он был самым мужественным, но ничего не мог сделать.

— Это всё водка, ребята, водка, не она, не подумайте. Мне нельзя сейчас пить. Это пройдёт.

— А на то мы тебе и друзья, дурашка, что больше пить тебе не дадим! Правильно я говорю, хулиганьё?

— Хлопцы, выпьем за Толика без Толика! Кхе, кхе.

— Спасибо, мои моложавые друзья, — улыбнулся Толик.

— Охо, к тебе возвращается остроумие. Это меня успокаивает, мой друг, — прошамкал де Голь и обнял Толика. Стало тепло.

— Ребята, сорём гимн? Профессор, за фортепьяно! Попрошу без отговорок насчёт дребезжанья третьей струны.

— Эхма, молоток, Толик! Ребятки! Сокол наш вернулся, алкоголичек наш милый надоумился! Да я тебе на струнах сердца своего гимн синтервьюирую! Вперёд, лихачи!

Искры камина горят, как рубины,
И улетают с дымком голубым.
Из молодого, красивого, юного
Стал я угрюмым, больным и седым...

13

Поздно вечером Толик пошёл в свою комнату. Плохо. И утром было плохо. И весь день на работе было плохо. Душа мерно кровоточила. Вечером, когда пришли пьяницы, Толик сказал:

— Только пить мне не давайте, а то я повешусь.

Сказал очень серьёзно и жалобно.

— А нам можно, Толик?

— Ну конечно.

Они очень любили Толика. Но первый стакан всё изменил. Гнилая кровь приняла отраву. Зрение стало кривым. «Какие же мы друзья, если он не выпьет? Значит, мы не вместе?»

— Пей, Толюшка, не уходи от коллектива!

— Ребята, я серьёзно говорю. Это плохо кончится.

— Пей, гад, а то в харю дам! — пропищал щуплый Профессор. Его уже больше не рвало. — Истина в вине и ресторане!

Толик рассмеялся и выпил. И всё пошло, как в часовом механизме.

14

— Сколько их было, Витёк, человек тридцать, наверное, было?

— Какой тридцать! Пятьдесят, если не больше.

— А нас десять.

— Считай — девять. Петьку-то Пьянчужку мы с вещами оставили...

— Это ж надо! Десять человек поехали посёлок лупить. Отчаянная вылазка!

— Не десять, а девять. Петьку-то Пьянчужку мы с вещами оставили.

— ...Ну да...

— Стоим мы в кустах, а они идут...

— Да, это ты здорово...

— Главное, им было меня найти...

— Пятьдесят от десятерых!

— От девятерых! Петьку-то Пьянчужку...

— И ничего мы не оторопели...

— Ну, ты из себя Кутузова-то не строй...

— Козёл!

— Я дам — козёл!..

— Де Голь! Вы забыли свои обязанности!

— Пардон, друзья, разливаю...

— Друзья, по-моему, у де Голя не глаз, а ватерпас. Кха, кха.

— За де Голя!

— Урря!!!..

— А всё-таки такой дружбы, как у нас, нигде нет! — сказал Толик.

Он врал. Ему не было хорошо. И от этого в душе подымалось раздражение. «Они — хорьки. Маленькие, сморщенные, гадкие хорьки... А Петьку Пьянчужку оставили с вещами. И через десять, пятнадцать лет... А мне, кроме них, не к кому. А один я жить не могу, я не сильный. Я был сильный. Попили, попиrowали... Четыре года было хорошо. Бесплатно?..»

— Толик, вдарь «Чёрного»!

— Хорошо, я вдарю вам «Чёрного». — Лицо искривилось. Но пьяницы ничего не замечали.

ПЬЯНИЦЫ

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

— Толик, у тебя душа!.. Я пла́чу, Толик!

— Толик, приди и возьми!

— Де Голь!!

— После этой вещи у меня трясутся руки. Разливайте сами. Ну вас совсем... Я пла́чу, Толик!

Толик посмотрел на них детскими сконфуженными глазами.

15

Утром Толик на работу не пошёл. То-ска-а-а! У тоски был сладковатый запах крови на запекшихся губах. Он посмотрел в окно на зимнюю металлическую крышу. Крыша была похожа на старуху. Работать стало не нужно. Жить стало не нужно. Толик оставил записку и повесился на чердаке, пропахшем кошачьим калом. В записке было: «Ребята. Все вы немного виноваты передо мной. Но я на вас не обижаюсь. Теперь всё равно. Вы — хорошие люди. Самые лучшие, каких я встречал. Но вы — пьяницы. Спасайтесь!»

16

Они сидели, прижавшись друг к другу и осиротев, и очумлённо смотрели на холодную металлическую крышу. Если к крыше прижаться языком, язык прилипнет. Как же?

А через три часа, когда Зелёный Змий подал руку помощи, они сидели за столом.

Эх, грянем, братцы, удалую
На помин его души...

Кровь была отравлена. В воздухе плавали смех, синий дым и еще что-то. Потому что пели они жутко. И в пении была их душа. У них была одна душа. Одна пьяная старая душа. А на душе было чувство обиды, и было чувство своей вины перед Толькой, и обречённое сознание гибнущей жизни.

Письма родным и друзьям

Здравствуйте, мама, папа и Леночка.

Более 3-х месяцев я чувствовал себя нормально, но в конце августа опять разболелся желудок. Дня три или четыре лежал в стационаре в лагере, а в первых числах сентября меня срочно увезли в больницу. Сидим мы здесь с Андреем Донатовичем (А. Д. Синявский). Зубы ему поставили железные, сегодня или завтра посадят коронки на цемент и отправят в лагерь. Его лагерь рядом, нужно просто перейти из больничной зоны в рабочую. У меня другое дело. Мне до лагеря нужно ехать несколько часов на поезде и на воронке. Две недели прошли у нас как в сказочном сне. И Юрий Евстигнеевич* здесь же, с нами был. Все мы друг другом довольны, хотя и противоречим друг другу много. Ну, и хватит пока об этом. Со здоровьем у меня здесь в больнице несколько лучше. Если так же будет и в лагере, то жить вроде можно. Но ведь сейчас осень, и можно ждать всякого обострения. (...) Кое-что будет зависеть от больничного питания. Будут ли его давать каждый месяц (или через месяц).

«Письма родным и друзьям» Ю. Галанскова, написанные из лагеря, представляют собой дополнение к материалам самиздатовского сборника «Ю. Т. Галансков — поэт и человек», см. «Грани» № 89—90, 1973 г. Сноски, обозначенные как «Прим. ред.», к письмам принадлежат редакторам сборника. — Редакция «Граней».

* Иванов, художник, автор портретов многих заключенных.

...У нас есть теперь некий Геннадий,¹ которому очень нужны будут книги по математической логике, логике и математике в этой связи. О нем вообще надо будет самым внимательным образом подумать, ибо парень чрезвычайно талантлив... Только что узнал, меня выписывают завтра, 25 сентября. Я не думал, что выпишут в эту пятницу. Для язвенного обострения 3 недели лечения — это не очень-то нормально. И даже смехотворно. Однако пусть так. Если в лагере не очень будет болеть, то можно будет жить и там. Если же в лагере опять будет очень плохо, то я возьмусь за это дело серьезно. Я их как следует спрошу, можно ли лечить язву за три недели без специальной диеты. И всякое другое. (...).

Вечер 24 сентября 70 г.

Здравствуйте, мама, папа и Леночка!

Как маленький Юрочка? Желаю ему всего хорошего. Я лечусь. Делаю уколы алоэ. От операции отказываюсь по многим причинам. Здесь невозможен нормальный послеоперационный период. И я не уверен, что мне будет лучше. Они об этом не хотят думать. А я обязан об этом не забывать. Я уверен, что в нормальной больнице, где есть диетическое питание, мне месяца за два было бы лучше.

Вот и сейчас. Николай Викторович Иванов, с которым мы вместе были на камерном (с 28. X. 70 по 28. XII. 70) и с которым вместе прибыли в больницу, каждый день делает мне бульон из кубиков фирмы «Магги», сладкий чай или что-нибудь язвенное. Купили в ларьке пряников. И боли стали слабее. И вообще стало несколько легче. Бульонные кубики в лондонской посылке оказались очень кстати.

¹ Г. В. Гаврилов, бывший старший лейтенант, осужденный на 6 лет лагерей строгого режима в 1969 г. — Прим. ред.

...Скоро весна. А я люблю весну. Прилетят скворцы, грачи, жаворонки. И май будет близко. А уж после мая будем ждать, когда подойдет срок личного свидания в начале августа. И ты приедешь ко мне, мама. А в августе останется примерно 30 месяцев (19 июля будет ровно два с половиной года).

Мама, передай Люсе (Л. Н. Семян) большое спасибо за открытки и книгу. Только вот от Люси и Тани писем почему-то нет. Вчера смотрел фильм про Севастополь. Пошел только потому, что был там и знаю, как его любят Люся и Таня. Мне и самому нравится в Севастополе...

Всё собираюсь написать Арине для Алика, но никак не могу. Боль мешает писать и не дает собраться с мыслями. Огромное спасибо за всё Арине и скорейшего ей выздоровления. Досадно, что Алик заболел. Ему нужно своевременно лечиться, а то потом будет мучиться. Прощу писать о нем еще и подробнее.

Милая мама, не волнуйся за меня. Всё будет хорошо. Очень тебя хочется увидеть. И не сердись на меня за то, что несколько не писал. Так нужно было. Пиши мне сама вечерами.

Я просил бы, Елена Тимофеевна, сходить на консультацию к хорошему гомеопату. Скажешь: кислотность нормальная с тенденцией к повышению, вздутие и боли в животе, привычные запоры, аппетит нормальный, горечи во рту нет, тошноты и рвоты нет, сухая отрыжка. Обязательно нужно сказать, что боли отдают в несколько позвонков в средней части спины, рези около пупка и более сильные правее пупка и в то же время короткие (вступающие), резкие боли ниже пояса в правой стороне спины, болезненные при прикосновении рукой или одеждой. Желудок увеличен книзу, вздутие желудка — в верхней части кишечника. Особенно меня интересует, чем объясняется повышенная чувствительность кожи в области грудины (под ложечкой). В этой области болей нет, но дотронуть-

ся до этого места нельзя, страшно и неприятно. Что это значит? Почему так? Каково происхождение? Это уже давно. Меня это очень интересует. Скорее всего нужно будет зайти к невропатологу. Это нужно обязательно сделать. И, конечно, нужно сказать про язву 12-перстной кишки...

Сегодня 25 февраля, меня не выписали. Теперь могут выписать только в следующую пятницу (5 марта). Что у вас с Ленинградом? Возможно попасть туда или нет? Что вам говорят?²

Отправил домой открытку, вторую не пропустили. Хотел поздравить Митю и Настю с днем рождения. Что делать? Придется поздравить детей позже. Досадно.

Ваш Юра. 25 февраля 1971 г.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С А. ЦВЕТОПОЛЬСКОЙ (РАДЫГИНОЙ)

...Анна! Поздравляю тебя с весенним праздником! Желаю, чтобы в этот день было тепло и солнечно. И легко на душе. Купи себе цветов — думай, что это я тебе подарил. Знай, что я очень люблю этот праздник. Правда, я осознаю его очень по-своему, по-язычески. Если в новогодние дни ёлка в моем представлении символизирует всё многоцветье зимы, то в дни весеннего женского праздника Женщина, как пробуждение Природы, вдруг возникает перед нами в лучах потеплевшего солнца, в легком одеянии ласковых весенних ветров, в радостном щебете птиц, играя соками жизни, как весенняя берёзка. Она — друг, жена, мать. Она — зов любви и голос радости, она — беззаветная материнская любовь.

² Речь идет о попытках Ю. Т. Галанскова попасть на лечение в Ленинградскую больницу, в чем ему постоянно отказывалось. — Прим. ред.

Ах, как мало мы задумываемся об этом. И поэтому очень бедно себе всё это представляем.

Еще раз желаю тебе всего хорошего. Пиши, пожалуйста, и мне. И спасибо за то, что другим часто пишешь.

Я сейчас, к сожалению, болею. Это весьма досадно и больно. Но я стараюсь поправиться: Во многом мое здоровье зависит от вашей помощи. Я об этом писал в письме домой. Почему от Алика нет писем?

пос. Озёрный, учрежд. ЖХ-385-17^а

Ю. Галансков

ОТВЕТ Ю. Д. КАРЕЛИНУ

...Получил письмо. Какая-то грязная писанина на 8 или 9 страницах. И откуда столько глупости и хамства. Очень меня удивил, но, слава Богу, высказался, и теперь мне понятно — с кем дело имеешь. Я бы не стал ничего писать, но чувствую, что нужно. И постараюсь ответить. Не из соображений полемики, а ясности ради.

Уж сколько раз твердили миру: «Не говори о том, чего не знаешь, не понимаешь и т. д.». И уж тем более не строй всяких глубокомысленных выводов, природа которых тебе неизвестна и известна быть не может, ибо эти факты не для тебя. Ну зачем, например, многозначительно иронизировать по поводу нескольких чужих рассуждений в связи с именем Евтушенко. Забавно мне читать твое, построенное на фикции, умозаключение: «Это тебе не критика какого-то там Евтушенко...» Ты, например, знаешь, что колесо не всегда бывает круглое, что лягушка не обязательно квакает(...), но ты не знаешь простой истины, что жизнь умнее тебя.

Еще я просил бы избавить меня от рассуждений такого пошиба: «Твоя мать недоумевает, почему ты заставляешь ее обивать пороги в различных инстанциях

и ничего не хочешь со своей стороны, отлично зная, что все ее хлопоты без твоей помощи впустую».

В этой связи разъясню. Первый раз заявление о помиловании подали, не ставя меня в известность. Мне только написали в больницу, что мать подала заявление. Ей отказали. После чего, в письме и на свидании, я объяснил и матери и Лене, что если никто не хочет считаться с их родительскими чувствами, то не нужно ни о чем просить. Несколько позже было прямо сказано, что нужно пойти и забрать заявление из Президиума (Верховного совета СССР). Однако весной 1971 г. сотрудники КГБ дважды приезжали к матери с разговорами обо мне. Они, очевидно, сказали им, что я запрещаю ей обращаться с просьбой о моем помиловании. После разговора с матерью сотрудник спецотдела московского КГБ вызывал меня и разговаривал со мной. Во-первых, он говорил, что никаких заявлений о помиловании до сих пор мои родственники не подавали. Во-вторых, он сказал мне, что будто бы я запрещаю матери обращаться с заявлениями о помиловании. Я ему сказал, что по ряду причин лично я обращаться о помиловании не могу, но хлопотать обо мне матери я не запрещаю и не могу запретить. Вот и весь наш разговор в этой части.

Если я о чем-то прошу, то, во-первых, я прошу об этом не мать. Ибо она почти ничего не может сделать сама. Я прошу, например, сходить в МВД, или по поводу лекарства, или по поводу моего здоровья, или в связи со свиданием, или в связи с каким-нибудь другим частным вопросом. В-третьих, это бывает очень редко, и чаще всего об одном и том же приходится просить несколько раз.

Теперь я хотел бы заметить, что не нужно объяснять мне, какова ныне «исторически сложившаяся система нормативных актов», хотя бы по той простой причине, что я в этом разбираюсь гораздо лучше.

... Я объясняю это только затем, чтобы впредь не вы-

слушивать многозначительных рассуждений, к тому же высказанных в менторской манере и вплетенных в единую хамскую систему рассуждений. И если всё это хамство — во имя заботы о моей матери, то нахожу нужным сказать несколько слов и в этой связи. Я её не просил и не прошу, хотя и не могу ей запретить. После того, как она сама это сделала и ей отказали, я прямо сказал: «Раз так, то и не нужно, не ходи и не проси». Но если к ней пришли и вновь советовали ей (столь авторитетные в ее представлении люди), могу ли я противостоять и запрещать? И какими средствами? Могут ли быть понятны ей мои аргументы (я нарочно употребляю это холодное слово). Что значит для неё все эти отвлечённые принципы? Что могут сказать материнскому сердцу различные этические абстракции? Ведь она живет в ином мире. Я сразу же вижу ее ночами, в постели, наедине со своими переживаниями, охваченную смутным материнским беспокойством за меня. И я был бы тупым идиотом, если бы лишил ее возможности попытаться что-то сделать, в чем-то убедиться. Если бы я ей запретил, она постоянно думала бы, что вот есть такая возможность, сердилась бы на меня, надеялась бы меня уговорить, добиться того, чтобы я не препятствовал ей и т. д. И если ей отказывают, то не потому, что, «видимо, существует исторически сложившаяся система нормативных актов», а в силу совсем других обстоятельств. И прежде чем пускаться во всякие мерзкие рассуждения, нужно в этих обстоятельствах хоть немного ориентироваться, а не усугублять недоумение пожилого человека тупыми фразами о том, что «закон есть закон», «порядок единый для всех» и проч. И уж, конечно, в системе подобных рассуждений я виноват в том, что не делаю того, чего не могу сделать, имея к тому весьма серьезные основания личного и иного порядка. Но господин Карелин считает себя умнее всех. И если кто-то поступает не так, как следовало бы по мнению Карелина поступать, то он «постоянно себя обманывает»,

«совершает чудовищную переоценку своей личности» и пр., и пр.

Людям отказывают в праве иметь чувства, принципы, убеждения, совесть. Им отказывается в элементарной способности соображать, совершать самостоятельные поступки, определять свою судьбу и т. п. Всему этому противопоставляется и навязывается скучная лобовая мыслишка вроде вот этой: «Извини, Юрик, но ты постоянно себя обманываешь. И эта ложь в твоём воображении трансформируется в борьбу за идею. Совершив чудовищную переоценку своей личности, ты и других хочешь заставить поверить, что ты будто бы 'гигант и отец русской демократии'».

Но если знакомство со мной даёт право господину Карелину говорить о том, чего он не знает и не понимает, то строить всевозможные мерзкие домыслы о людях, которых он никогда не видел, — это уже совсем скотство. Очевидно, всегда находясь в болезненном состоянии чудовищной переоценки собственной личности, этот моральный калека поучает дальше: «Может быть, тебя сдерживали какие-либо соображения морального порядка? Я имею в виду твоё окружение из преступников, загримированных под «друзей народа». Это своего рода фирма, и вы как храбрые личности, видимо, решили бороться за знак её качества. Но ты опять обманываешь себя... Продукция вашей фирмы, даже с клеймом качества, не находит сбыта. А на экспорте много не заработаешь».

Эти дубовые фразы значат только одно — человек расписался в собственном идиотизме. А какой изумительный язык! И если кого-то упрекнул в том, что у него нет своего взгляда на жизнь, то продемонстрировать «взгляд на мир» подобный выше процитированному, — значит быть невменяемым монстром.

Ты посмотри на себя — кто ты есть. Ты же шут гороховый, жалкая юмористическая фигура, застывшая в пошлых штампах. Ты кретин с высшим образо-

ванием. Ты ничего не читал, кроме «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка». И эту кучу хлама из тряпья и пружин ты суешь везде, где нужно и не нужно. Двадцать лет мыслишь этими шутовскими категориями, созданными для потехи обывателя. Ты — пещерный человек, ведь твои выражения — вроде «держи карман шире», «загримированных под друзей народа», «трансформируется в борьбе за идею», «молодой гений», «пострадавший за правду» — раздевают, разоблачают тебя. И ты, прибегая к своей манере выражаться, преимущественно куражась между двенадцатью стульями и вокруг золотого телёнка, стоящий перед лестничной клеткой, перед собственноручно запертой дверью, [ставишь себя] в стыдное положение. Ты совершенно голый и твое пошлое шутовство не прикрывает твоей позорной наготы. И спрятаться тебе некуда. Один мой знакомый сказал, что после чтения твоего письма возникает какое-то ощущение грязи, хочется вымыть руки. Я перечитываю твои грязные листки в надежде найти хоть что-то сколько-нибудь оправдывающее твое уродство.

...С некоторых пор в твой мозг перестала поступать полноценная информация из внешнего мира. Со временем твой мозг становится всё более похожим на разбитое зеркало, в оправе которого не целое зеркальное стекло, а лишь куски, зеркальные осколки, которые не в состоянии усвоить полноценного образа реальности. Твой мозг строит образ из фрагментов реальности и обрывков искаженной информации. Схватывая отдельные ноты, ты пытаешься пропеть мотив. И не понимаешь, в каком смешном положении ты оказываешься. И над тобой не смеются только потому, что люди не жестоки. Но когда ты наглеешь, пытаешься учить людей, которые нисколько не глупее тебя, необоснованно оскорбляешь не только самих людей, но и их чувства, выстрадавшие в невзгодах и лишениях, то извини, но

тебя не могут не одёрнуть, хотя морду бить, может быть, не будут.

Вот только что по договоренности между Красными Крестами в индонезийские лагеря отправлен самолет с лекарствами, продуктами и вещами. Я радуюсь этому, ибо понимаю, что кто-то мучается без лекарств, страдает от голода и холода. А почему, например, нужно иронизировать, если больному человеку в больницу приходит посылка из Англии. Вот твои слова: «... да несколько бульонных кубиков с заграничной этикеткой, которые пришли тебе весьма кстати». Я лежал в больнице с тяжелым обострением, ничего не мог есть, и вот кубики из куриного бульона буквально помогли мне выбраться из болезни. Что же в этом плохого? Почему, например, не радоваться тому, что всё так удачно сложилось? Ведь именно это было нормальной человеческой реакцией. Но тебя не волнует болезнь твоего друга, его выздоровление. Тебе доставляет удовольствие высказаться насчет этикетки.

Я совсем не хотел бы обидеть господина Карелина, но он поставил меня в безвыходное положение. У меня такое впечатление, что ты совсем свихнулся. Ты уже не знаешь, как соединить куски реальности во что-то целое, логически более или менее упорядоченное, создающее хоть какую-то видимость убедительности. Для этого ты начинаешь выдумывать всякую чепуху.

... Мне приходится кое-что говорить тебе, кое о чем писать, ибо ты имеешь глупость думать, что без твоих анекдотических советов взрослый человек не сможет уразуметь, где рука правая, а где — левая. Вот ты пишешь: «Но я думаю, рано или поздно ты задумаешься о своем будущем. Эти вопросы за тебя никто не будет решать. Тебе должно быть ясно, что ни в Москве, ни в других приличных городах жить тебе не разрешат. А болезнь требует длительного лечения, заботливого ухода. А специальности — никакой. До пенсии — далеко.

Без семьи. Возможности матери ограничены, а тогда и еще уменьшатся. У Лены своя жизнь. А «издателю» на тебя в высшей степени наплевать. И твоя перспектива не очень радужна. Вот и думай, что же дальше. Время еще есть, но его не много».

Времени у нас у всех маловато, к сожалению. Но пока мы живы, оно у всех у нас есть. Правда, ты говоришь о другом времени, — о времени, чтобы подумать. Но о чём? О своем будущем — указуешь ты. О том, что нужно будет лечиться, на что-то жить, где-то жить... И если тебя очень уж беспокоит вопрос, где я буду жить, то подыщи мне дом около Москвы, а я его сразу же куплю. Или, по крайней мере, объясни мне в очередном письме правовую сторону этого вопроса.

Теперь несколько слов о болезни и лечении. Общеизвестно, что для больных людей существуют больницы, в которых людей лечат. При современном уровне медицины язву вылечивают за 3-4 недели (в хорошей специализированной больнице). Так что не нужно меня пугать длительным лечением, если дело только в язве. А вот если у меня какое-нибудь серьезное нарушение обмена веществ, тогда дело сложное. Но даже и в этом случае болезнь — дело человеческое. Болеют если не все, то многие. Диетическое питание стоит максимум 2 рубля в день. Как известно, в месяце 30 - 31 день. Как экономисту тебе должно быть ясно, что всё это не очень сложная проблема.

Почему ты думаешь, что у меня нет специальности? Пока ты отбывал на своих факультетах установленный государством срок, я учился на площадях, в сумасшедших домах, в тюрьмах, и вот уже несколько лет меня учат в мордовском университете. Мои университеты несколько не хуже твоих факультетов. В этом вопросе ты можешь смело себя не обманывать. У меня есть две отличные специальности, и если я не захочу или не смогу ими жить, то в крайнем случае я буду шить ру-

кавицы и буду зарабатывать больше тебя. И кстати сказать, не нужно очень уж преувеличивать значение денег в человеческих судьбах.

... Почему, например, ты думаешь, что мне не разрешат жить ни в Москве, ни в других «приличных городах»? Я не знаю, какие в твоём представлении города являются приличными, но мне можно жить почти во всех городах, кроме Москвы. Но кто тебе сказал, что я хочу жить обязательно в Москве или каком-нибудь «приличном» (в твоём понимании) городе. Может быть, я собираюсь жить где-нибудь в Крыму или в деревне около Москвы, например, где-нибудь около Звенигорода.

Теперь об «издателе». Если ты под «издателем» подразумеваешь Александра Ильича*, то, во-первых, «радужность» моей перспективы ни в коей мере не зависит от того, «наплевать» ему на меня или не наплевать. Во-вторых, например, в отличие от тебя, он всегда сделает мне подписку на 20, а если будет нужно, и на 30 журналов, не пускаясь в шутовские разговоры о трудовой копейке.

Очень страшный ты человек, Юра. Вот, к примеру. После тягостного шестилетнего отсутствия возвращается человек домой, едет не в набитом людьми и мешками вагоне, а на такси. Ну и что же? Казалось бы, ничего плохого в этом нет. Даже наоборот, очень правильно сделали люди, что поехали на такси. А вам это кажется странным, подозрительным. Вы тут как тут, суете нос в чужое дело, многозначительно указываете на счётчик, ощупываете чужие карманы. «Интересно, кто платит за него?» — восклицаете вы. А извините, почтеннейший, что здесь интересного? Всякому нормальному человеку интересно могло быть другое, например, всё пережитое, или человеческая радость воз... [пропуск]. Сказав одну пакость, тебя так и подмывает сказать другую. Ты па-

* А. И. Гинзбург.

костишь без чувства меры и реальности, ты не можешь остановиться. И вот ты строчишь далее. «Но тебя так встречать никто не будет, даже если и очень попросят». Я вот думаю, что ты этим хотел сказать? Или то, что его встречали не так, как он этого заслуживает (в твоём понимании), или что я не заслуживаю такой незаслуженной встречи. Ты, должно быть, очень вырастаешь в собственном представлении, когда пытаешься принизить других. Тебе, конечно, всё это не очень понравится, но это — жестокая правда, и ты её в высшей мере заслуживаешь. Подумай, что ты пишешь и куда ты пишешь. Или совсем не пиши мне, или не юродствуй, а уж тем более не изобретай всякого мусора. Меня не столько зло берет, сколько досада.

Теперь о Лёше (Добровольском). Это ты его, как я понимаю, попросил выйти вон. Он безусловно дрянь, и от таких людей нужно держаться подальше. Но, видишь ли, на войне жертвы не останавливают, на войне очень часто обрекают людей на мучения и гибель. А он, безусловно, мыслит логикой войны, хотя и кривляется при этом в духе самой низкопробной бесовщины. Ведь он — бес. Надеюсь, ты читал «Бесов» Достоевского. И более, чем вывихам его мышления, нужно удивляться времени, когда эти вывихи, это кровожадное извращенство кажется нормой, имеет свою логику вещей и свою мораль. И его позиция не просто абсурд, не будем строить иллюзий на этот счет...

Милый Юра. Подумай, пожалуйста. Это трудно, конечно, но ты уж постарайся. Это тебе не помешает и даже, может быть, на пользу пойдет. И вот еще просьба. Это письмо не исключает возможности ответной полемики. И поскольку ты человек очень остроумный и в совершенстве владеешь пером, то даже просто мысль об ответной полемике пугает меня до ужаса. Ты уж, пожалуйста, пожалей меня. И воздержись от пикирования. Ты вот лучше хорошенько подумай, а подумать

тебе есть о чем. Короче говоря, спокойно пиши, не увлекайся, не входи в раж. Ведь вот иногда бывает, что человек войдет в раж и никак остановиться не может и ну куражиться, пока его по лбу не треснут. Да и отвечать мне трудно. Болею я.

31 марта 1972 г.

пос. Озёрный

Ваш Ю. Галансков

ПИСЬМА ДЕТАМ*

Милый мальчик Митя, мне очень понравилось твое рисование. Давай договоримся с тобой вот так... ты будешь присылать мне свои рисунки каждый раз к празднику. Жду. А этот кот — он очень добрый кот. Смешной и добрый. Вот он принёс цветы. А завтра он, может быть, придет с пирогами. А потом принесёт ягоды. А потом будет сидеть на трубе. А потом залезет в сапог. А что будет еще потом? А? Расскажи мне, милый мальчик. Жду.

Юра. 17 марта 1970 г.

Митенька, здравствуй. Мне писали, что ты болен, но потом всё же ты был в деревне, ходил в лес, на озеро, видел лягушек, рыбку разную. А ходил ли ты в лес, собирал ли грибы, ягоды? Были ли у вас там цыплята, гуси, коровки? А лошадей ты видел? Любишь ли ты лошадок? Ох, как я люблю лошадок! Ты ходишь в школу. Любишь ли ты ходить в школу? Любишь ли ты своих учителей? Напиши мне об этом. Крепко обнимаю тебя.

Юра. 23 сентября 1970 г.

* Катя, Митя, Настя и Тимофей — дети Аиды Моисеевны Тапешкиной, большого друга Ю. Галанскова.

Катя и Митя, вас и малышей Настю и Тимошу поздравляю с Новым годом и Рождеством.

Может быть, взрослые почитают вам как-нибудь вечером сказку «Щелкунчик» писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, а пока послушайте, что он пишет в этой сказке про ёлку:

«Большая ёлка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечечек, которые, как звёздочки, сверкали в густой зелени, и ёлка, залитая огнями и озарявшая всё вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева всё пестрело и сияло. И чего там только не было! Не знаю, кому под силу это описать...»

Да, трудно писать о красоте новогодней ёлки. Но вы постарайтесь и напишите мне. О ёлке, о новогодних праздниках, о своих радостях. И если вас сфотографируют в новогодние дни, то пришлите фотографии мне. И какие вам подарят подарки к Новому году? Пишите.

А где лежат ваши ёлочные игрушки? Уж, наверное, где-нибудь в коробке на шкафу или в каком-нибудь ящике, в темноте и пыли. И даже самые красивые из них валяются в куче, как попало: и боком, и на корточках, и вверх ногами, мёрзнут в сугробах снежной ваты и даже, может быть, дрожат от холода и сырости. Снегурочке, конечно, холод не страшен. А что если она окажется у печки или батареи? Ведь она и растаять может. А какой-нибудь птичке, бабочке или стрекозе — негде и крыльшками пошевелить. Даже жуку — ведь и тому иногда, небось хочется раздвинуть переливающуюся скорлупу панциря и расправить свои бледные крыльшки.

Нет, так нельзя... Хотите знать, что рассказывает писатель Гофман про стеклянный шкаф? Тогда слушайте:

«Как только войдешь к Штальбаумам в гостиную, тут, сейчас же, у двери налево, у широкой стены, стоит высокий стеклянный шкаф, куда дети убирают прекрасные подарки, которые получают каждый год.

Луиза была еще совсем маленькой, когда отец заказал шкаф очень умелому столяру, а тот вставил в него такие прозрачные стёкла и вообще сделал всё с таким умением, что в шкафу игрушки выглядели, пожалуй, даже ещё ярче и красивей, чем когда их брали в руки».

Может быть, вы думаете, что игрушки могут ТОЛЬКО сломаться, разбиться, запылиться, но не могут дрожать от холода, плакать от страха, пугаться темноты, говорить, бегать, летать? Но вы вспомните деревянного малыша Буратино.

А вот когда вам будут читать «Щелкунчика», вы узнаете много всякого интересного про ЖИЗНЬ игрушек и про чудесное в нашей простой жизни. Если вам понравится «Щелкунчик», то напишите мне об этом. Всего вам хорошего.

Ваш Юра. Декабрь 1970 г.

Здравствуй, Митя, твое письмо получил. Оно мне понравилось. Спасибо, милый мальчик. Как ты живёшь в деревне? Посылаю тебе открытку про грибы. Оказывается, грибы собирают не только люди, но и всякие зверьки и букашки. Они их охотно едят и даже собирают на зиму. Сушат на веточках, прячут в норках, едят сами и кормят детишек. А, например, белочки собирают не только грибки, но и орешки. Орешки они собирают в дупло, а потом грызут их всю зиму.

Всякие гусеницы и вредные букашки кусают деревья, грызут веточки и проедают листочки до дыр, а муравьи этих вредных букашек прогоняют. Поэтому, когда под деревом живут муравьи, дерево весело шуршит и хлопает в зеленые ладошки. Пишите мне из деревни, обнимаю вас всех.

Юра. 30 мая 1971 г.

ПИСЬМА РОДНЫМ И ДРУЗЬЯМ

Дорогой Митя! Вот какие муравьи... У них и пожарные есть. И даже пострадавших муравьёв унесли в муравейник лечиться. Они совсем как люди. А муравьиной кислотой можно лечиться. Этой кислотой мой дядя вылечил свой желудок. Ты пишешь, что у вас есть муравьиная дорога. Это интересно.

У вас есть цыплята и утята. И все они у вас на двух ногах. А вот в газете пишут про цыплёнка, у которого 4 ножки. Это почему же? У всех по 2 ножки, а у него — 4. Видишь, как интересно бывает в природе.

А этот мотороллер я нашёл для тебя. Ведь ты любишь всякие мотоциклы. Митенька, скоро день рождения у мамы. Пиши мне, обнимаю тебя.

Юра. 29 июля 1971 г.

Милая Катя! Это сказочное озеро и сказочные дети. Но всякое озеро может быть сказочно интересным. Нужно только этого захотеть. А сколько удивительного в вашем Кукуевском озере. Ты приглядишься...

Высылаю тебе газетную вырезку про дельфина. Это очень добрые и умные существа. Они очень дружелюбно относятся к людям. Знаешь ли ты еще что-нибудь про них? Если хочешь, я пришлю тебе еще кое-что о дельфинах. А если у тебя будут какие-нибудь газетные вырезки из газет и журналов, то можешь прислать мне.

Юра. 19 июля 1971 г.

Милая Катя, еще раз поздравляю тебя с Новым годом. Вот тебе эстонская снегурочка с пряником в руке. Твоё новогоднее поздравление (с зайчиком) получил. Спасибо. А я уж заждался твоих писем. Я уж было думал, что ты так прилежно учишься, что у тебя совсем не остается времени для письма. Пиши мне, пожалуйста, иногда. У меня всё терпимо. Работаю. Читаю книжки. А ты книжки читаешь? Я буду ждать. Глажу по

головке Настюшку, обнимаю вас всех. Сегодня 29 декабря. Ждем Нового года. Каждому из нас прислали к Новому году всякие сладости и мы храним их к празднику. А мне даже прислали красивую пачку сигарет «Российские». Я доволен. Красивое слово, не правда ли? Обязательно напишите.

*Ваш Юра. 29 дек. 1971 г.
пос. Озёрный ЖХ-385-17-а.*

Милая Катя! Я давно уже получил твое письмо с этой открыткой. И берёг эти ромашки, чтобы однажды прислать их тебе. И вот посылаю. Ибо получил много ваших фотографий и увидел, что ты совсем большая девочка. Твоя ромашка, Катенька, всё ещё не выросла, а моя, хоть и цветет, но гадать я не хочу, т. к. знаю, что всё равно не отгадаю... А девушку, которая мне нравится, ты знаешь очень хорошо. И я знаю, что она нравится и тебе. И сама эта девушка об этом всё знает.

Вот если хочешь, то погадай за меня. И напиши мне, что скажут тебе ромашки: любит... не любит...

Я начал с фотографий. Их целых семь. Весь день рождения Мити и Насти. Например, Настя за столом с рукой, властно опущенной на стол. И на обратной стороне надпись: «САХАЛИН БУДЕТ НАШ». Это может быть понято в двояком смысле, т. е. наш или японский. Предлагаю другой вариант: мы сделаем Настю царицей острова Сахалин. Тогда он будет наш и японский. Прекрасный выход. Вот что значит политика и дипломатия. Привет Мите, Насте и Тимоше. Обнимаю.

Юра. 1972 г. март

... Знаете, милая моя, дело, может быть, не столько в Ваших письмах, сколько в Вашем почерке. Представьте себе, что Ваш почерк мог показаться кому-то мужским. И получается нелепость — письмо от женщины,

написанное мужским почерком. К тому же без обратного адреса, да еще и со значком каким-то. Забавно, не правда ли? И всё же нужно писать обратный (чертановский адрес) и не нужно этой значкообразной подписи. Меня об этом прямо предупредили. Так что подписывайтесь как-нибудь иначе, например, именем. А то опять какое-нибудь недоразумение получится. И, кстати, не посылай никаких книг по почте. Нам давно уже всё это запретили³. Книги мы можем получать только из магазина. Открытки, конверты, марки посылать в письмах можно. Некоторое время запрещали, теперь опять разрешили⁴. Еще раз обращаю внимание: письма должны быть заказные и желательно с уведомлением. И не пиши, пожалуйста, лишнего...

В конце апреля я написал тебе большое письмо. Примерно на 15 страницах. Но ты его не получишь, к сожалению⁵.

Вот сейчас постараюсь написать новое. Постараюсь в этом письме сказать всё, что хотел в том...

³ С 1.XI.1968. — Прим. ред.

⁴ После многократных и многочисленных обращений к Генеральному прокурору и в Верховный совет СССР. — Прим. ред.

⁵ Письмо было конфисковано администрацией лагеря после участия Ю. Т. Галанскова, вместе с другими политзаключенными, в 12-дневной забастовке протеста против хамства и произвола замполита лагеря 385/17 лейтенанта Клементьева с 18 по 30 апреля. За участие в голодовке Ю. И. Федоров и Н. В. Иванов были соответственно заключены в помещение камерного типа (ПКТ) сроком на 6 и 4 месяца 6 мая 1972 г. Ю. Галансков избежал мести администрации лишь в связи с резким ухудшением здоровья, в результате чего он в ночь с 6 на 7 мая был этапирован в Центральную больницу Дубрависла в пос. Барашево. Лейтенант Клементьев получил звание старшего лейтенанта. — Прим. ред.

... Речь совсем не об изящной словесности. А о языке, о нашем языке, о родном русском. Возьмем, к примеру, два слова «папа» и «отец». Что может сказать русскому человеку слово «папа»? И совсем другое дело — «отец». Отец — это отечество, отчизна, отчество и т. д. Казалось бы, всё это вопросы языкознания, лингвистики, семантики и т. п. Но в конце-то концов всё это вопросы психологии (правда, просто психологии никогда не было и быть не может), общественной психологии, национальной психологии (это уже ближе к истине). И уж если говорить точнее, всё это в конце концов вопросы национальной культуры, т. е. жизненно важные для нации вопросы. И не просто жизненно важные, а вопросы основополагающего значения.

Представьте себе фантастическую ситуацию: в силу тех или иных причин умирают сразу все русские писатели, и одновременно в Россию со всех сторон, со всего света собираются французы, немцы, англичане, японцы, китайцы и т. д. Сначала все они кое-как учат русский язык, кое-как говорят на нём, постепенно овладевают им всё более и через некоторое время начинают даже писать книжки. Допустим, что никто не понимает, что же, собственно, происходит. А они всё пишут и пишут. Всё написанное ими начинают называть сначала литературой, а потом и прямо русской литературой. А является ли она на самом деле таковой? Во-первых, русский ли это будет язык в нашем фантастическом примере? Ни в коем случае. Теперь взглянем на это с несколько другой стороны, несколько в ином ракурсе, и спросим себя: «Какими соображениями и интересами руководствуются пишущие люди в нашем фантастическом примере? Заняты ли они, действительно, русскими делами или, может быть, еще чем-то? Может быть, еще чем-то? Может быть, они, таким образом, всего лишь проводят свои интересы и всего лишь утверждают себя? Если это так, а в нашем фантастическом примере это так и иначе быть не может, то что же

тогда получается? Получается, что литература существует сама по себе, а нация сама по себе. И даже более того, получается видимость существования русской литературы, языка, культуры. И в этой видимости — суть подмены, катастрофическая суть. И между прочим, может быть, подмены сознательной.

...Я не могу писать тебе равно, как и всем. Может быть, поэтому за все годы я написал всего два письма, которых ты не получила. Второе письмо по своему человеческому напряжению, по ёмкости переживания могло бы заполнить молчание многих лет. Но ты его, к сожалению, не получишь, хотя я и попытаюсь что-нибудь сделать. Своеобразие человеческих судеб конкретно, и здесь всякая формализация равносильна умерщвлению живого, когда исчезает пульс, дыхание, тепло. Она убивает и того и другого, приравнивая неповторимость ситуации ко всему третьему.

Ты для меня не все другие, а ты. И я, в известном смысле, был создан не всеми другими, а тобой. В этом смысле я творение твоих чувств, движений и эмоций. Твоих — и ничьих более. Хороших и дурных, но твоих.

...В одном из твоих писем было нечто о сверхактуализации. Может быть, мне трудно (и даже невозможно) судить об этом. Я затрудняюсь сказать, будет ли сверхактуализацией воспоминание о том, как мы в первый раз шли в Донской монастырь. Мы вошли в ворота, пошли по дорожке до кладбища, через кладбище и сели на скамейку около одинокой, заброшенной могилы. Нет, тогда я не просто шёл. Это было какое-то парение чувств. Двое идут по улице. Но что значит идут? Идут и на базар и на плаху, но что общего в этом? Разве что в том и другом случае — переставляют ноги. Нет, нельзя сказать, что мы когда-нибудь просто шли. Мы всегда стремились друг к другу. Если бы на моем пути к тебе оказалась стена и её невозможно было пе-

рейти, — я стал бы разбирать её голыми пальцами. Это было бы почти безнадежное дело, но я делал бы это безнадежное дело. (У меня нет времени продлевать письмо. Я не всё сказал. Буду писать дальше).

С 7 мая лежал в больнице. Завтра 9 июня. Выписываюсь и еду в лагерь. Пишите⁶.

8 июня 1972 г. Ю. Галансков

Ю. Т. ГАЛАНСКОВ — Т. Н. С.

«...Остается лишь формализм нравственного долга, жизнь как бы «замирает» (слово «формализм» ты почему-то подчеркнула).

В жизни бывает хорошее и плохое. Например, преданность — хорошо, а предательство — плохо. И то и другое имеет место в жизни. И то и другое есть объективное состояние жизни. Человек знает — бывают предательства, и он проецирует предательства в книгах, в живописи, в музыке. Человек знает — бывает преданность, и он проецирует преданность как одну из заповедей где-нибудь в книге Добра. Мы — это наши мощные инстинкты. Они учат нас преданности, и они же делают из нас предателей. Поэтому Мы — и Преданность и Предательство одновременно. Мы знаем цену и Преданности и Предательству, и было бы грубой ошибкой думать, что «люди склоняются к злу». Наоборот, зло всегда противно человеку. И он проецирует зло как темное, дьявольское Нечто. Оно для него тягостная вынужденность, с которой он ведет постоянную упорную борьбу.

В своей душе, в своем духе человек остается хоро-

⁶ Через пять месяцев Юрий Галансков скончался в лагерьной больнице, так и не успев продолжить письма человеку, которого он любил более, чем кого-либо. — Прим. ред.

шим, кристаллизует всё доброе как нравственное и проецирует эту кристаллизацию, положим, как десять заповедей. Эти десять заповедей, как десять жемчужин, как десять откровений он вписывает в систему религии. А всякая религия — это гигантская величественная проекция гигантского величия человеческого духа.

Развращенный атеизмом уже не может верить в это величие, потому что в нем не осталось даже крупицы этого величия.

Если градусник показывает $+100^{\circ}\text{C}$, то атеист верит, что объективно существует такая температура. А в то, что объективно существует нравственность, атеисту поверить уже трудно. Сравнить нашу душу с ртутью, а десять заповедей со шкалой на градуснике, — для атеиста уже невозможно.

Но мы потеряли градусник нашей нравственности. Мы нравственно больные люди, не знаем, что с нами происходит. Мы верим в термометр, но не верим друг в друга, в добро. Даже если мы и верим во что-то хорошее, то всё равно нам недоступно то гармоничное состояние, которого достигает обыкновенная старуха в церкви. Никакие наши речи не могут сравниться с молитвой, ибо все наши речи — формализм, не опирающийся на тысячную долю той веры, на которой основаны все молитвы. Ты говоришь: «Проблема относительности всякого добра». Добро абсолютно. Оно есть или его нет. Добро — оно для всех добро и ничем другим ни для кого быть не может.

Твой Юра. 26. 4. 69 г.

...У меня могут быть отношения с самыми разными людьми. Но есть люди, которых я принимаю целиком и полностью. Принимаю их такими, какие они есть. Принимаю при всех и во всех обстоятельствах. Принимаю в сиянии и в грязи. Принимаю в бедности и в богатстве. Принимаю в здоровье и болезни. Человечес-

кие отношения сплошь и рядом построены на конъюнктуре. Люди выгадывают, выкраивают, обманывают и обманываются, выигрывают и проигрывают. У меня нет нужды заниматься всей этой человеческой бухгалтерией. Я не знаю, что там люди находят и теряют. Мне всё равно, бывает ли им в такой жизни лучше или хуже. В моем понимании всё это плохо. Я вижу, как носится этот «Корабль дураков» без руля и без ветрил.

Позитивизм и прагматизм в человеческих отношениях разбивает магический кристалл мировоззрения, растлевает личность, ввергает её в хаос суетной конъюнктуры. Люди хватаются за всё и не могут насытиться ничем. Эта негативная сторона современной жизни сейчас хорошо известна. О ней много пишут, о ней говорят, о ней кричат и даже вопят, устав от писанины и разговоров. Консерваторы справедливо пытаются привлечь внимание очумевшего мира к идеалам Веры, Надежды и Любви. Но современному человеку не во что верить, нечего любить и не на что надеяться. Конъюнктурный ритм жизни беспощадно дробит мировоззрение людей на мелкие осколки животных реакций и рыночных комбинаций. Положение серьезное и, может быть, даже страшное. Утратив веру в Бога, люди никак не могут обрести веру друг в друга. И это, действительно, — тяжелый случай, что в идеального Бога можно было верить и верили, а как верить в грешного человека? Как мне верить в человека, если я знаю, что он всегда может обмануть и предать меня? Как мне любить этого мошенника и предателя? И какие я в таком случае могу иметь надежды? Всё вопросы и вопросы. И вопросы-то все правомерные.

Именно правомерность и актуальность этих вопросов оживляет христианство. Человечество вновь обращает свои взоры к Богу. Ибо в вере в Бога оно легко обретает и Веру, и Любовь, и Надежду. Здесь возможны два варианта: или Бог есть и Он постоянно постигается людьми, или Бог есть потому, что он создан за-

конами человеческого мышления и психики. Материализм и атеизм легко может игнорировать первое, но второе просто отрицать — невозможно. Ведь невозможно отрицать законы человеческого мышления. Они ведь есть...

...Кстати, знаю о том, что вы поссорились с N. Смутно знаю. Очень мне досадно было узнать об этом. Жизнь полна недоразумений, и, может быть, между вами недоразумение случилось. А может быть, кто-то из вас виноват в случившемся. Такое ведь бывает. Люди ведь не ангелы. Может быть, даже виновата ты. И может быть, твоя вина — не то чтобы твоя вина, а просто какое-то проявление тебя с отрицательным знаком. Я повторяю, ведь не ангелы же люди. Противоречивы люди. Соответственно противоречиво проявляют они себя и в жизненных ситуациях. Очень досадно мне, что вы рассорились, ибо по-разному, но одинаково сильно я люблю вас и верю в вас. А вы вряд ли верите друг в друга и вряд ли друг друга любите. А когда нет веры и любви между людьми, то всегда найдется какой-нибудь пустяк, который станет яблоком раздора. И наоборот. Вот я и опять упёрся в веру. Опять из [пропуск] человеческих терзаний вырисовываются эти великие маяки. Человек — грешен. Как мне верить ему? Стоп! Ему или в Него? Стоп-стоп-стоп... Здесь есть какая-то разница. И очень существенная, может быть. Может быть... Никак не уловлю сути. Грань тонка, и истина уходит... Не схватывается зависимость, не вырисовывается связь... Мы научаемся верить в Него и верим Ему... или наоборот, или еще как-то. Почему эта вера или есть, или ее нет, почему одним дано верить, а другим нет? Как это получается? Ну ладно, я еще подумаю над этим. И ты подумай.

...Присылайте открытки (живопись) в письмах. И сама больше интересуйся живописью. И музыкой. Нуж-

но чаще смотреть и слушать. Спасибо за Лотрека. Мне думается, я его хорошо понял. Или, вернее, я могу понять его. Могу чувствовать эту болезненную пульсацию жизни, этот патологический излом судьбы. Но для меня это не самая драгоценная грань в кристалле бытия, хотя пройти мимо неё, конечно, невозможно. Это было бы ханжеством. Но я легко могу представить душу чистую и непосредственную, которая не поймет такой живописи и будет очень удивлена ею.

Мне ближе, например, Петров-Водкин. Например, его «Мать». Смотришь и начинаешь ясно понимать трагедию современного общества. Эмансипированные дуры и изуродованные шлюхи. Страшно! Я это не из ханжества говорю. Нет. Эти дуры и шлюхи — наша жизнь. В моем понимании — это испытание, которое человечество должно пережить и изжить. Всему этому будет естественный конец, когда переоценка ценностей станет неизбежностью во имя семьи как первичной завази человеческих отношений (т. е. любви, материнской любви, родства, братства), во имя семьи как формы поддержания человеческого потенциала нации и ее наследственного фонда, во имя семьи как формы сохранения человеческого рода. Мы, по-моему, и мыслить-то разучились такими категориями. Лотрек — вот наше видение мира. Здесь мы находим и смысл и красоту. Здесь — наша психология и эстетика. Здесь — мы уроды в изуродованном мире. И самое удивительное в том, что всё это для нас так естественно, так близко, что мы начинаем думать: вот она, жизнь настоящая... А жизнь ли это? По-моему, это скорее распад и умирание, по-моему, это кошмар жизни, в котором мечется раздавленный и распадающийся человек. Человек-несчастье. Человек без веры и надежд.

А в смысле живописи Петров-Водкин тоже хорош. Вот у меня под рукой его «Яблоки на красном фоне» и «Селёдки». Пошлю их с этим письмом. В неожиданных ситуациях живопись воспринимается лучше. Так бы-

вает. И даже, может быть, так должно быть. Ну, как? Правда, хорошо?

Новый год прошел хорошо. Из двух тумбочек сделали новогодний стол. Постелили белое полотенце. Пили кофе. Собрались Миша Садо (он здесь при столовой работает кочегаром), Петров-Агатов* (приехал в больницу с больными ногами, с венами что-то; автор песни «Тёмная ночь, только пули свистят по степи»). Он верующий. Много пишет стихов и т. д., сидит уже не в первый раз), Лёня Бородин (из нашего лагеря, приехал с язвой, ленинградское дело, русский националист), Иван Чердынцев и я. Кофе здесь пьют все (почти). Пьют из одной кружки, чёрной от сажи, или из банки. Кружка ходит по кругу, «закон железный — только два глотка», т. е. каждый делает два глотка и передает другому. Потом заваривают еще, и опять — по два глотка, один передает другому. Пили за всех за вас, за матерей, за детей, за Россию, за алтари и очаги Отечества. Принесли баян. Лёня играл. Мы с ним пели. (Странно, конечно, но я могу). На 17-ом поют еще и другие. А здесь пришлось вдвоем. Жаль, не было Славика Платонова (он из Питера по одному делу с Мишей и Лёней, окончил аспирантуру и преподавал на Восточном факультете Ленинградского университета амхарский язык и историю Эфиопии). Лёня — бывший директор школы в Сибири, а затем около Луги. Поем мы, главным образом, русские народные песни. Смысл пения (не самих песен, а именно пения) — пробуждение русского национального чувства (в некотором роде это эмоциональная база русского национализма). Я понимаю, что для тебя всё это странно, ты живешь в ином мире, для ясности скажу: в мире денационализированных лотреков. Чтобы понять, о чём идет речь, нужно

* См. очерки А. Петрова-Агатова «Арестантские встречи» в «Гранях» №№ 82, 83 и 84. — Ред.

раскрыть понятие нации, а это довольно сложно. Вот если я буду писать еще, то попытаюсь.

Очень самозабвенно я пою (со всеми) «Лучинушку».

То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит,
То мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит.
Извела меня кручина, подколотная змея,
Догорай, гори, моя лучина, догору с тобой и я.
Не житьё мне здесь без милой, с кем теперь пойду к венцу,
Знать, сулил, сулил мне рок с могилой обвенчаться, молодцу.
Расступись, земля сырая, дай мне молодцу, покой,
Приюти меня, моя родная, в тихой келье гробовой...

Дело не в словах, а в минорности, в том эсхатологическом чувстве, которое является свойством русского характера в противовес западной мажорности. Хотя говорить обо всём этом можно, только раскрывая позицию полностью или по крайней мере ее основные «нервные узлы». Иначе всё это будет казаться странным. Мы сегодня привыкли понимать нашу жизнь как какой-нибудь исторический процесс смены формаций, где какая-нибудь классовая борьба является локомотивом истории или где имеет место эволюция или революция. Методологически мы приучены сквозь призму социального (базис, надстройка или просто общество) пытаться понять нашу жизнь, ее развитие, ее трудности, ее модели. Мы без конца, например, будем говорить о социальных причинах возникновения фашизма и всё же ничего не поймем. Что мне с того: какие социальные силы привели Гитлера к власти и где он нашел питательную силу (в каких слоях) для своего самоутверждения. Что мне с того, какие политические силы и почему не смогли противостоять ему. Что может дать весь этот разговор об обстоятельствах, если я не пойму самой природы фашизма. Почему, собственно, имел место фашизм, а не еще что-то? Мы совсем не способны взглянуть на жизнь сквозь призму религии, расы, культуры,

психологии и логики, антропологии и биологии. Разве можно понять природу фашизма в социально-классовом анализе? Никогда!

Всё вопросы и вопросы. И вопросы-то по существу.

...Я нахожу прекрасным, когда девушка успевает сбегать сдать истмат, диамат (или еще что-то там) и прибежать на Садовое кольцо к взбунтовавшемуся другу. Обыкновенное событие, хотя почему-то оно из ряда вон выходящее. Где-то такое — есть повседневность, звено объективного жизненного ритма, даже для простой почтенной домохозяйки. И то, что при каких-то обстоятельствах оно из ряда вон выходит, придает этому особую личностную, этическую и эстетическую ценность. И слава Богу. Радоваться нужно. Вдохновляться. Чувствовать крылья. Спешить туда, потом домой, потом на работу. Жить там, жить дома, жить на работе, жить среди друзей. Жить достойно и красиво. И никто не требует от человека чрезвычайного. Всё это простые вещи. Хотя не все это могут понять. Так же, как простому таракану никогда не понять простого полёта ласточки.

...Прошлое для всех актуально одинаково, для женщин и мужчин, кажется мне. И я буду еще вспоминать прошлое. Но и настоящее встает передо мной обрывками, клочьями...

А домой очень хочется. Очень-очень! Хотя из этого еще не следует, что здесь жить невозможно. Совсем не следует. Даже наоборот. И если у человека нормальное здоровье, то в некотором роде он может считать, что ему повезло — пройти сквозь эту жизнь. Здесь многое постигается. Здесь грани жизни отчётливы. Здесь человек понимает жизнь до ее последних возможных глубин. Отсюда, как с вершины, видишь человеческую трагикомедию и ее социальные формы. Вот пример, который, может быть, даст тебе ключ к пониманию ситуации. В разлуке, где-нибудь в экспедиции, когда вре-

менно прерываются семейные и некоторые социальные связи, человек острее и отчётливее чувствует и понимает их сущностное и ценностное значение. И даже эмоционально перед ним раскрывается всё богатство личных связей и всё тепло очагов. Но лагерь — не экспедиция. Разница колоссальная. В этом сравнении, с одной стороны, всего лишь геолог, а с другой — личность, вырванная в напряжении, в боли, поставленная во всем в пограничные ситуации. Да и много всяких других аспектов в этом есть. Одни живут спокойно и легко, другие — с надрывом, третьи — просто сжились, состарились, и им уже не хочется в родные края, а если и хочется, то только для того, чтобы посмотреть на родные места (а это очень сильное чувство) и положить свои кости на знакомой земле. А я? Я иду своей дорогой сквозь все обстоятельства. И если болезнь не раздавит меня физически, — я ничего не боюсь и ничто меня не пугает. Я найду себе свое хорошее, я найду себе свое прекрасное. Я буду радоваться в радости своей и печалиться в своей печали. Мне моей души хватит для меня, а кроме души у меня есть еще и мир, в котором много всего удивительного.

Немного о здоровье. Болит у меня ежедневно, примерно через час после еды, всё с правой стороны выше пупка и ниже в сторону ребер, под ребрами (внутри) и даже сверху. Отдает в поясницу, в позвоночник и особенно резко иногда в левый сосок. Утром встаю, вроде бы всё хорошо. Не завтракаю — хорошо. В 12 часов обедаю, а в час или во втором начинается на целый день. Пью ежедневно, в день раз десять соду, примерно пол чайной ложки, стараюсь не более. Помогает на некоторое время. Потом опять пью. Это не от изжоги, а чтобы снять боли. Изжоги у меня почти не бывает. Хотя кислотность бывает чуть повышенная или нормальная. Повышенная кожная чувствительность ниже уровня сосков в середине груди, точнее — ниже груди. Аппетит хороший. Тошноты и рвоты не бывает. Запоры.

Может быть, это колит, а может быть, — нет. С печенью, по-моему, всё в порядке. После курса В¹ и В¹² глюкозы (с витамином) через месяц становится лучше, и даже хорошо. Ничего не болит. Но вскоре всё начинается вновь. Вскоре — это через месяц или быстрее. Вот тебе клиническая картина. Вот сейчас сижу (уже поздно) пишу письмо, появляется и затихает боль в правом боку (не могу сосчитать, на уровне какого ребра). В середине бока. А потом и в других местах правой стороны. Передо мной — белая красивая фляжка с водой и сода в пластмассовой баночке. Пью соду и запиваю водой. Минуты через две-три становится легче, а потом опять. Слежу, чтобы потом сразу уснуть, а то буду ворочаться, мешать спать соседу внизу, у меня койка — второй этаж. Когда ворочаешься, — она качается, и качается нижняя койка. А я человек стеснительный. Да и всё равно боль не даст сразу уснуть. Спать могу только на левом боку. Если лежать на правом, — начинаются и усиливаются боли. Это в обязательном порядке. Хватит болезней. Кончаю об этом.

...Скорее всего, 16 января (в пятницу) меня выпишут и отправят в лагерь. Вернее, меня уже выписали из терапевтического отделения, и я задерживаюсь здесь из-за зубов. Надоело всё. Конечно, лучше бы пройти еще курс лечения. Но уж если не лечение, то скорее к себе в лагерь на 17а. У меня все мои книги и вещи там. Там всё более приспособлено для жизни. А здесь — вокзальная ситуация. Хотя там свои проблемы, которых здесь нет. Но эти проблемы — неизбежность. Рассказывали мне, что ребята дружно встретили Новый год. Сейчас их выпустили из карцера, пересмотрели и отменили решение. Думаю, что и Лёня в конце января, числа 30-го приедет из больницы на 17-й. Миша останется здесь. Он — ассириец, весь черный, с черной бородой, среди черного угля и пыли, он будет сидеть около своих печей, как баба Яга, с кочергой. А мы будем шить у себя рукавицы. Время от времени он будет ви-

деть приезжающих лечиться знакомых, но вообще-то, по-моему, здесь одному можно обалдеть. Вместе интереснее. Ну, ладно, кончаю, пиши, пожалуйста. Завтра, может быть, еще что-нибудь напишу. Иду спать. Залезу на второй этаж. Рядом Миша. Должно быть, видит приятные сны. К нему скоро должна приехать жена и дети, которых он нежно любит.

Сегодня целый день не ел. Почти ничего не болело. Вот бы всегда так было! К сожалению, люди устроены так, что есть необходимо. Хотя, может быть, если несколько дней не есть, — можно приглушить болезнь. Нужно попробовать. Правда, я пробовал, но нужно пробовать еще, подходя к этому исключительно с медицинских позиций. Убедился, что у Лёни и еще у одного мальчика-литовца⁷ (литовцев и латышей у нас много, хотя больше всего украинцев) боли такие же, как и у меня, хотя у литовца кислотность низкая (18). Одно в этом утешительное, что, может быть, это рядовая, обыкновенная болезнь желудочно-кишечного тракта, но не более... Тогда с ней еще можно бороться, и бороться успешно.

Завтра (16 января) буду на 17. Ну, всего хорошего. Пиши.

Юра. 15. 01. 1970 г. Больница.
Барашево

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С Л. М. Б.

...Что сказать тебе еще?..

Когда я начал писать это письмо, осень только начиналась. Желтели тополя, а рябина краснела. Было несколько холодных дней. За эти дни тополя проржаве-

⁷ Имеется в виду Альвидас Шедуикис, студент Вильнюсской консерватории, осуждённый на 5 лет лагерей строгого режима по обвинению в националистической пропаганде. — Прим. ред.

ли, а рябина потемнела. Подул теплый ветер, с тополей опала листва, и только на рябине листья еще держались. Но однажды, когда ветер был особенно сильным, я вдруг увидел, что и на рябине не осталось ни одного листочка. Как-то невидимо и сразу случилось это. А я в этот день хотел несколько веточек рябины заложить в книгу.

Пришло твое время. Тополя стоят голые. Только кое-где маются на ветру случайно уцелевшие листья. И когда подует ветер, — не сразу разберешь, слетает ли последняя листва или стайка воробьев.

Осень ранняя. Всё отцвело и увяло. И даже альпийская фиалка цветет и отцветает на улице и в бараке, в горшках, сделанных мной из дупла осины и стволов березы.

В этом году я чувствовал себя хорошо. И вот даже теперь, когда осень, — я вполне держусь. Если бы так было всё время.

... Все пишут, что птицы считают родиной то место, где они выпорхнули из гнезда и сделали первый облёт. Они всегда стремятся вернуться сюда. Должно быть, потому и ты считаешь дни до своей холодной дождливой родины и, как Иннокентий Анненский, вспоминаешь: «Полусвет, полутьму наших северных дней, недосказанность песни и муки». Кстати сказать, это весьма в духе эстетики Г. Якулова. Не правда ли? (Полусвет — полутьма — недосказанность.) Но это я так, к слову. А вот про птиц — это серьезнее. Ты, должно быть, уже прилетела. Уже октябрь. 22 число. Твое время. Сейчас утро. Добрый день.

22 октября 1971 г.

пос. Озёрный

... Я получил твое нежное письмо. Потом было письмо от 24 октября. После возвращения с юга. Страничка, вырванная из погребённости городскими заботами, из

поздней осени, дождливой и без [пропуск] еще под впечатлением морской осени с бурями, с цветущими до снегов розами, сверкающей и чужой.

Живу по-прежнему, но душа оживает, а иногда бывает живой, как в детстве. Может быть, это море, а может быть, еще что-нибудь. А твоя душа?

Ах, о чем это? Я сержусь на себя, на собственную неуклюжесть и неспособность проникнуть, почувствовать, понять. «Как в детстве» — это, пожалуй, единственный ключ, но и он не помог мне приоткрыть дверь в мир оживающей души. Да и если бы это была какая-нибудь абстрактная оживающая душа, то и пусть бы так. Но ведь это — твоя душа, т. е. ты сама. И я не могу понять тебя. Досадно. Я всматриваюсь в собственную душу и вспоминаю собственное детство...

Кстати сказать, сейчас я читаю книжку Иово Элез «Проблемы бытия и мышления в философии Людвиг Фейербаха» (Изд. «Наука», М., 1971 г.). Читаю с интересом.

Автор отстаивает материализм на стыке учений Спинозы — Гегеля — Фейербаха, Маркса. Небольшая и очень хорошо написанная книжка. И много о душе. Например, в одной сноске автор замечает, что Фейербах «в силу борьбы против отрыва души от тела» доходит до утверждения того, что «человеческая душа имеет человеческую фигуру, душа быка имеет фигуру быка». Позволю себе сделать кое-какие цитаты. По крайней мере, может пригодиться, когда будешь сдавать экзамены по философии, истмату и т. д. (...). Ну, вот и хватит. Теперь у меня есть внутренняя уверенность, что если ты сможешь осилить всё это цитатничество, то у тебя не возникнет особых трудностей по философии, истмату, диамату и т. п. Но не только ради этого я испытал несколько страниц, цитируя общеизвестные положения философии. Я мог бы коротко процитировать тебе только одно:

«Он (Фейербах) или сводил историю к качественно неотличимой части природного процесса, или же вообще отрицал за ней характер естественного процесса, т. е. не поднялся до понимания естественноисторического процесса соответственно человеческой деятельности как особенной части природной деятельности».

Вот то яйцо, ради которого пришлось вить гнёзда из цитат по истории философии, — и уж ты извини за скуку. И дело вот в чем.

Рассматривая гносеологическое отношение как общественное отношение, полагая, что в общественном отношении человек продолжает «ограниченность, связанность животного отношения к природе», полагая человеческую чувственность как практическую, человечески-чувственную деятельность, полагая всё это, — было ли найдено тем самым достаточное, «естественное основание», говоря словами Фейербаха.

Поставив акцент на человеческой практике, мы развиваемся от изб до небоскрёбов, от шкур до синтетических шкур, но не гармоничнее, не естественнее ли улитки прячут себя в великолепных раковинах, а звери в шкурах? Вот в чём вопрос. Ведь в нашей практической деятельности мы вполне можем впасть в ошибки и можем погубить себя разнообразными способами (например, ядерная война, или нарушение экологического равновесия, или демографическая проблематика и т. п.). Фейербаха упрекают за то, что «он в общем и целом принадлежит к тем философам, которые не сумели раскрыть ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО влияния практической деятельности на человеческое мышление». Положив практическую деятельность как определяющую, не свели ли мы практически всё к практицизму, утилитаризму, низводящему природу только «на степень средства к достижению грязно-торгашеских целей», как думал Фейербах. Не был ли тем самым утверждён принцип, который, как предостерегал Фейербах, «будучи проведен

последовательно(...), сводится к самому низменному и пошлomu утилитаризму», когда «природа перестает улыбаться своим поэтически-чувственным блеском всему человеку». Не оказались ли мы в плену социальной гипертрофии, всё более вырывая себя из природы? Разрушая себя в своей биологической основе? Может быть, раковина, звериная шкурка, сети паука, муравейник и т. д. — более мудрое состояние, чем изба, платье, провода и рельсы, города и т. д. Где оптимальная гармония? И где ошибка концепции определяющего влияния практической деятельности? А?

В «Новом мире» № 10 за 71 г. есть статья В. Эфрисмона «Родословная альтруизма» (этика с позиций эволюционной генетики человека) и следующая статья (здесь же) академика Б. Астаурова. (Обязательно прочитай.) Автор напоминает:

«Вспомним высказывание Ф. Энгельса о том, что определяющим моментом в истории является производство и воспроизводство самой жизни, имеющие две стороны: с одной стороны — производство средств жизни, а с другой ... производство самого человека, продолжение рода, таятся среди всей совокупности причин и причины наследственного закрепления тех якобы противоестественных человеческих эмоций, эмоций человечности, самоотверженности, благородства, жертвенности, непрерывное восстановление которых остается подчас загадкой или представляется алогичным с вульгарно-материалистических позиций».

Вот еще интересное место. Говоря о преступности, о роли среды и наследственности, автор пишет:

«Известно много наследственных болезней, вызывающих эмоционально-этическую деградацию личности. Но гораздо большую социальную роль играют широко распространенные наследственные отклонения, близкие к норме, характерологические особенности эпилептоидов, шизоидов, циклотимиков. Каждый из этих типов отклонений имеет не только отрицательные, но и

социальные ценные стороны. Однако при несоответствующей микросреде целеустремленная настойчивость эпилептоидов обращается взрывчатостью, а абстрактное мышление и уход во внутренний мир шизоидов — догматизмом, бесчувственностью и фанатизмом. Доброта, общительность циклотимиков — безответственностью. Воспитание и дисциплина могут подавить нежелательное проявление личностных особенностей, но метод проб и ошибок достаточно мучителен и дорог. «Надлежащий человек на надлежащем месте» — вот оптимальное решение для характерологических отклонений, потенциально ценных, но в особых условиях».

Короче, прочитай сама. Мне бы очень хотелось этого. Знаешь, (...), некоторыми вещами я интересуюсь именно потому, что о них напоминаешь мне ты. Вот Рильке. Его переводили мало, и о нём не так-то много у нас известно, хотя он интересовался Россией в высшей степени. Ты прислала мне его стихи, и я лезу в философский словарь и читаю:

«Рильке, Райнер Мария — поэт, философ, род. 4.XII.1875 г. (Прага), ум. 29.XII.1926 г. (Вольман близ Монтре); почти всю свою жизнь провел в путешествиях по России и европейским странам (...)».

Ну вот... опять огромная цитата. Но думаю, что твой интерес к Рильке не случаен, и, может быть, что-нибудь неизвестное для тебя окажется в этой справке. А может быть, ты переводишь его? Не помню, знаешь ли ты немецкий?

Мне приятно знать, что Рильке с такой любовью относился к России, но, Бог мой, сколько в этом наивного:

«Испытываешь странное ощущение, находясь ежедневно среди этого народа, который полон смирения и набожности, и я глубоко радуюсь этим новым открытиям». (...)

...Он, может быть, вслед за Ницше, считал (Россия, по мнению Ницше, единственная страна, имеющая будущее и умеющая ждать и обещать, прямая противоположность «жалкой нервности» западноевропейского парламентаризма; ее могущество будет возрастать и впредь, если его не ослабит введение «парламентского идиотства») Россию страной будущего, противопоставлял Западу и т. д. (...). Правда, Ницше рассматривал Россию в духе своего атеистического учения, а Рильке — с позиций мессианства, когда творчески активный народ создаст Бога.

«Прекрасный укромный уголок в сердце Господа, все Его прекраснейшие сокровища сокрыты там. И они разбросаны в ней повсюду, праздные и покрытые пылью. Они все служат той глубокой набожности, благодаря которой испокон веков создавались прекрасные произведения». «Мое искусство стало сильнее и богаче на целую необозримую область, и я возвращаюсь на родину во главе длинного каравана, тускло поблескивающего добычей».

... Извини, что письмо получилось из сплошных цитат. (Кстати, если сможешь, прочти и статью в «Москве» № 10, 71 г. о национальном. Это интересно в том смысле, что отечественный литературный вопрос разрешается и, очевидно, в будущем в еще большей мере будет разрешаться в ключе национального. Но там, вообще-то говоря, хотя вопросы и рассматриваются на литературном материале, — речь идет далеко не о литературе).

Получил твою открытку от 29 октября со стихотворением М. Рильке.

Мне кажется, что-то чуть-чуть
с недавних пор убывает
и словно в нас вызывает
печаль по кому-нибудь.

Я не устал, но, разумеется, — болею. Осень. Плохо, но держусь весьма.

«Снег шёл всю ночь, всю ночь, тихий, как дыхание». Если он шёл всю ночь, то когда же ты спала? Извини, но я просто хотел спросить: разве иногда ты не спишь ночами? Я, например, только и жил ночью, когда один, за столом.

И у нас был снег, такой же тихий, «как дыхание», и я думал о тебе. Думал хорошо и спокойно. И мне не приходило в голову, что «что-то чуть-чуть с недавних пор убывает». Даже голые ветки рябины я ощущал в будущем, в листве, в цвету, просто и естественно.

Какая странная сегодня осень. Дважды наступала и отступала зима. Небо и земля слились в единой белой яичной скорлупе. Я подумал: «Это уже зима». Но на другой день снег растаял. Во второй раз было опять много снегу, но сверху подтаял, потом подмёрз, но к вечеру снежная корка опять размякла и в электрическом свете лоснилась, как шкура белого бегемота (белых бегемотов, конечно, не бывает). Вскоре и этот второй снег сошёл, и вновь проявился покров поздней осени, с островками побуревшей и даже почерневшей травы среди зеленой, с многочисленными клочьями увядшей, еще чуть жёлтой травы. И кажется, что кое-где выглянули новые зеленые ростки. Утра туманные, земля сырая. Я переболел простудой с высокой температурой, но всё прошло. Перед сном принимал мёд с таблетками. Было жарко, как в печке.

От тебя что-то давно уж нет писем. Я ждал после 19 ноября, пока нет, но, может быть, вот-вот должно...

Скоро Новый год, Рождество.

30 ноября 1971 г.
пос. Озёрный

...Ребята уже улеглись и переговариваются друг с другом. Сейчас погасят свет.

Прошел день и вечер в заботах и суете. Я никак не

собрался продолжить письмо. А когда взялся за перо, времени осталось совсем мало. Люди умываются, раздеваются, разбирают койки. Я сделал себе рубашку из толстой байки, она белая и пушистая, как снег на улице — веселый снег ранней зимы.

... Письмо, которое я отправил 30 ноября, ушло 3 декабря и было в Москве 10 декабря, но никаких писем из Москвы нет. Досадно. Только от мамы милые закорючки с открытками.

Очень кстати пришло твое письмо. Я, действительно, начал волноваться. Это — беспокойство. Теперь мне спокойнее. А заботы — это не беда. В заботах вся наша жизнь, есть много трогательного в человеческих заботах. И мне даже «сквозь них», сквозь них — даже лучше — жизненное, человечнее, теплее. «...вернуться до срока» — это не такая уж проблема: сесть, написать Николаю Викторовичу в Верх. Совет несколько строчек — вот, пожалуй, и всё. Во всяком случае, это — не проблема для меня. И в то же время — для меня это и проблема. Но и эта проблема — не проблема, ибо она имеет вариативные решения, не противоречащие совести. Проблема в другом, в том, что существуют другие проблемы, которые выше личных интересов. Конечно, я с удовольствием прибыл бы сегодня на Голутвинский. Не отказался бы. К тому же, меня, кроме мамы с папой, особенно-то никто не ждёт, поэтому я сам могу выбрать себе место в пространстве и времени.

Видишь ли, заботы бывают разные. Забота, когда делаешь больному брату чай с лимоном. Здесь всё понятно, а вот со стаканом молока — сложнее. Слушай меня внимательно. В озере жили пескари да костлявые уклейки, да еще лягушки-квакушки. Это было так скучно, что никто не замечал ни озера, ни уклеек, ни лягушек. Но вот развелись в озере караси, окуни, лини, судаки, лещи, карпы, а на поверхности величественные плавали лебеди — гордые чистые птицы. И люди уди-

вились. Как же так? И что же это такое? — заинтересовались они. С одной стороны, все вроде бы и просто: ну, озеро, ну, рыбы, ну, птицы. А с другой стороны, — вовсе нет, вовсе не просто... И, между прочим, кто будет поливать клумбу, если с нее оборвать самые яркие цветы? Ее не заметили даже пчёлы. А ведь яркость цветов — это не просто суета, как это иногда легкомысленные думают. Да, да, легкомысленно, с кажущимся глубокомыслием. В яркости цветущего растения — вековая мудрость природы. Это понимают многие. Но не у многих ума хватает видеть мудрость жизни и вообще мудрость в любом, казалось бы, самом обыденном месте, где она вдруг оказывается. И разве в яркости цветка нет жертвенности? Ведь того и гляди кто-нибудь повредит, сорвёт, поломаёт. Но цветут цветы и плавают лебеди. И я в своей белой рубаше из байки...

Веселая зима! И я ее переносу легче, чем осень, в смысле здоровья. С чего ты взяла, что я лежу? Я работаю. Шью по сто рукавиц в день, только дым идет из-под шапки моей машинки. И в конце работы выхожу в зиму, в снег, на мороз, дышу и быстро прохаживаюсь по тропинке в сугробах. Сегодня вечернее небо, как грудь снегиря, говорят, что завтра будет морозно. С чего ты взяла... Екатерина Алексеевна сказала. Противоречие не должно тебя смущать. Нынче жизнь такая. Жизнь из-под колеса. Глядеть нужно в оба. Выпустишь ситуацию из рук, недоглядишь — раздавит, изомнёт, перемелет, останутся только рожки да ножки, или кости да кожа. И не то что кто-либо такой злой и вредный. Совсем не так. Просто если сам о себе не позаботишься, другие вряд ли позаботятся о тебе — не заметят, не разберутся, не расшевелиятся, а колесо-то — оно тут как тут: наедет бездушный автоматизм и потом поздно будет рассуждать. Сверкает и искрится зима в белоснежных сугробах. Пусть в новогодние дни это будет и для тебя...

Декабрь 1971 г.
пос. Озёрный

Игумен Геннадий (Эйкалович)

Историософские узоры

Ландшафт меняется в зависимости от высоты полета обозревателя. Подобным образом обстоит дело и с историей. В зависимости от отдаленности во времени меняется значимость фактов и событий; в зависимости от занимаемой позиции ткутся различные историософские узоры.

1

Философия истории, или историософия, ставит себе задачу осмысления крупных явлений в истории человечества. Историософия по своей природе стоит на границе между философией и естественно-описательными науками. Поскольку историки пользуются некими наукообразными методами при установлении фактов и исследовании документов, постольку историософия укоренена в научной почве. Своей вершиной, однако, она поднимается в область интеллектуального искусства, ибо не обладает точными методами, какие имеются в математических и физических науках. Кроме того, она не в состоянии экспериментировать. Ее опыт — весь в прошедшем. В будущее она устремляется гипотезами или, вернее, мифами, ибо ее цели — далекого прицела.

Вместо точных доказательств, историософия пользуется убедительностью своих интуиций, анализов, синтезов... В зависимости от типа данной культуры те или иные историософемы пользуются принятием данной среды, входят в моду, скажем, приходится по вкусу. Но при всем видимом разнообразии историософем их мож-

но группировать в определенные классы, соответственно этим основным интуициям или перспективам. Цель этой статьи — в том, чтобы *показать* читателю возможные и разнообразные точки зрения, не входя в их обоснование или критику.

В качестве примера *самого общего* возможного подхода к этой проблеме предлагаем подразделение на три основных концепции: а) монистическую, б) дуалистическую, в) креационистическую.

Монистическая концепция считает вселенную *одним* организмом, в себе самом имеющим и свою деепричину, и свою целепричину. В зависимости от того, что принимается в качестве основного элемента, монизм может быть *материалистическим* (Демокрит), *бытийственным* (С. Франк) и *идеалистическим* (Гегель). С религиозной точки зрения, каждый монизм пантеистичен. Пантеистические концепции в свою очередь можно подразделить на две основные группы: *эманационного* толка и *эволюционного* толка.

Самым ярким представителем первого направления следует признать *Плотина* (205–270 гг.?), основателя так называемого неоплатонизма. Он учил, что самым глубинным основанием всего сущего является «Единое», абсолютное бытие, в своей полноте превышающее всякое человеческое постижение. Бытие это, по своей природе абсолютно динамичное, в творческом порыве преизливается из себя (эманирует), причем эти преизлияния выражаются в возникновении всё новых и новых форм в порядке нисходящей степени совершенства. Это эманирование совершается необходимо, как необходимо лучи струятся из источника света. Первой эманацией является «ипостась» духа-разума (то есть идеальный мир), затем следует психический мир (душа мира и индивидуальные человеческие души) и, наконец, материальный мир. Эту божественную эманацию можно было бы сравнить с извержением вулкана: из огнедышащего центра земли, под влиянием давления лучистых

энергий, образуются раскаленные минеральные пары, которые рвутся наружу и, постепенно удаляясь от центра, охлаждаются, отяжелевают, принимают вид расплавленного вещества, затем раскаленной твердой материи, которая, остывая, превращается в застывшую и холодную «мертвую» лаву.

Типичным представителем теории второго, эволюционного, толка считается *Г. В. Ф. Гегель* (1770-1831 гг.). Подобно Плотину, Гегель выводит всеиность из единого начала, которое он называет абсолютом или чистым бытием. Как платиновское Единое, так и гегелевский абсолют, будучи пределом человеческой мысли, не поддается определению. Единственно, что о нем можно постулировать, это его внутренний динамизм, выражающийся в непреложном *становлении*. Становление выражается в дифференциации, и, в противоположность платиновской теории, дифференциация эта движется в восходящем направлении, от состояния совершенной невыявленности к абсолютному самосознанию и самопроявлению. Система Гегеля, к историософии которого мы еще вернемся, выводит всё из *идеи (духа)* и потому может быть признана наиболее ярким примером *идеологического* направления (в смысле «логического развития идеи»).

Дуалистические учения, пришедшие в Европу с Востока, постулировали извечность мира как арены борьбы двух начал: добра и зла. История человечества, согласно этим учениям, является манифестацией этих двух взаимоборющихся и не способных друг друга преодолеть начал. Иранские религии воплотили эти верования в личности двух богов — Ормузда и Аримана.

У *Платона*, сохранившего некоторые черты дуализма, равновесие сил нарушилось в пользу *высшего, благого начала, мира идей* за счет *низшего, материального мира*. Эту же схему развивал и первый христианский историософ *блаженный Августин* (354-430 гг.) в учении о двух царствах, «градах»: божественном и земном. Ис-

тория человечества — это история борьбы этих двух царств. Всю историю бл. Августин разделял на шесть периодов, из которых последний завершится полным разделением добра и зла и выпадением вселенной из плана времени: настанет вечность райского существования для спасенных и вечность адских мучений для «сынов погибели».

Хотя дуализм в чистом виде в настоящее время есть достояние музея историософии, тем не менее психологически он возрождался время от времени в религиозных мировоззрениях (особенно в Средневековье и в протестантизме — *Кальвин*, XVI в.).

Креационистические концепции, основывающиеся на Библейском Откровении, кладут в основу своих историософских построений идею сотворения мира трансцендентным Богом «ни из чего»¹. В этой космогонической перспективе создание вселенной с человеком во главе состоялось ввиду некой определенной Богом цели, которую человек призван осуществить в результате исторического процесса. Здесь за человеком признается свобода в интеллектуально-этической области собственным усилием разгадывать замысел Творца и добровольно включаться в этот исторический процесс. С этой точки зрения, креационистические концепции обретают добавочные атрибуты *финальности* (телеологичности, целенаправленности). На этом историософском пути мыслителя подстерегает опасность уклонения в свойственный христианскому Востоку «апокатастаизм» (учение о «восстановлении всяческих»), заклеянный православными догматиками в факте осуждения «оригенизма». Согласно учению *Оригена* (185-253 гг.), оптимисти-

¹ «Ни из чего» — перевод латинского выражения «ex nihilo», отличимое от «из ничего» — «de nihilo»; второе, ложное, выражение имело бы в виду не абсолютное небытие (узон, греч.), а недифференцированное бытие, «беременное» всеми будущими развитиями. — И. Г. Э.

ческому по духу, вся вселенная, включая и человека, и падших духов, в результате исторического процесса совершенствования достигнет той стадии, когда зло и смерть будут изжиты; время как симптом изменения перестанет существовать, и наступит новый эон преображенной вечной жизни в лоне божественной Реальности. Это учение, с некоторыми оговорками, исповедовалось св. *Григорием Нисским*, а в наше время — русскими философами «всеединства».

Историософская струя, с трудом просачивающаяся здесь и там в Средневековье, забила мощным ключом к концу XVIII века и широко разлилась в первой половине XIX в. Первый толчок был дан итальянским историком и философом *Джаматтиста Вико* (1668 — 1744 гг.), который рассматривал историю как целеустремленный процесс, в котором участвуют отдельные народы соответственно своему особому призванию. XIX в., с малыми исключениями, был периодом «линейных» историософских систем, утверждающих поступательное (более или менее регулярное и непрерывное) развитие человечества. Сюда надо отнести течения гуманизма, просвещения, позитивизма, эволюционизма, прогрессизма и утопизма. Приведем несколько наиболее характерных примеров историософских построений.

Придерживаясь хронологического порядка, начнем с Канта.

Иммануил Кант (1724—1804 гг.) в сочинениях последних десяти лет своего творчества писал на темы философии истории, в основу которой он положил идею развития нравственного разума человечества. Культура, согласно Канту, состоит именно в развитии нравственного характера, и поэтому она является сознательным творчеством человеческой воли. «Предполагаемым» (согласно его терминологии) началом истории Кант считал факт грехопадения. Райское состояние человека, выражавшееся в совершенной невинности и неискушенности, сразу прекратилось с первым нарушением нор-

мы нравственного закона. Это было первое эмпирическое проявление зла, пребывающего до того момента в невыявленном состоянии. Развивая мысли апостола Павла, Кант утверждает, что актом совершения *недолжного* зло раз навсегда перешло из состояния чистой потенции в состояние действительности. Сознание человека, до той поры цельное, раскололось на осознание зла и на чувство совести, которая приняла форму нравственного закона. С того рокового момента началась история человечества, выражающаяся в усилии воли над согласованием самое себя с нравственным законом. Путь в райское состояние невинности был утерян человеком навсегда.

Подобно Гердеру, к которому мы перейдем вскоре, Кант думал, что в своих стадиях развития исторический процесс обусловлен естественнонеобходимым образом. Но в отличие от последнего Кант частично выделил из этого процесса человека, которого считал не только высшей формой чувственного мира, но и членом мира сверхчувственного. Такое сопребывание человека в двух мирах является причиной бесчисленных трудностей и конфликтов в его жизни. Решение одних задач сопровождается возникновением новых, еще более сложных и трудных. Успех в нравственной области, как правило, окупается лишениями в области материального благополучия. Но цель истории не есть обретение благополучия, а — победа нравственности над злом, нравственности, постигнутой и достигнутой свободным человеческим волеизъявлением. Свобода не есть произвол, эгоистично нарушающий свободу и благополучие ближних. Свобода человека должна умериваться категорическим нравственным императивом: *в своих поступках руководись правилом, относительно которого ты хотел бы, чтобы оно было универсальным законом.*

Свободная нравственность человека может вполне развиваться только в рамках совершеннейшего государственного устройства. Последнее же, в свою очередь, мо-

жет осуществиться лишь только в том случае, если все народы созреют до такой степени, чтобы в международных отношениях руководиться нравственными принципами. Кант предвосхитил попытки нашего века, еще весьма несовершенные, создать сверхнациональный союз государств, который, не ущемляя национальной свободы своих членов, мог бы осуществлять в жизни принципы международного права. Индивидуум, оставаясь гражданином своего государства, имел бы тогда одновременно и права всемирного гражданства. Состояние «вечного мира» между народами — это довольно отдаленный во времени идеал, но он осуществим на грани истории. Свое убеждение в достижимости этого идеала Кант обосновывал уверенностью в том, что природа творит целесообразно. Человек обладает некими врожденными расположениями и потенциями. Бессмысленно было бы утверждать, что природа создала их без актуальной возможности их осуществления. Но так как всем очевидно, что некоторые из этих потенций не осуществимы в течение краткой жизни отдельного человека, то из этого следует, что задача такого осуществления лежит на ответственности последовательно сменяющихся поколений, то есть на человечестве вообще. Поступательное осуществление этого троякого идеала — господства общей невидимой Церкви, нравственного совершенства и вечного мира между народами — и составляет историю человечества.

Иоганн Г. Гердер (1744—1803 гг.) в том же году, что и Кант (1784 г.), опубликовал свой монументальный труд под названием «Идеи, относящиеся к философии истории человечества». Гуманист, сочетавший в своей философии идеи неоплатоников, Спинозы и Лейбница, Гердер рассматривает вселенную как седалище божественной красоты, силы и гармонии, развивающихся в эманационно-эволюционном порядке. Божество, то есть душа мира, то есть живая творческая энер-

гия понуждает вселенную развиваться от естественных основ к духовному совершенству. Человеческая реальность может быть понята и осмыслена лишь на фоне реальности вселенной, которая состоит из разных планов существования: начиная с самой низкой и примитивной неорганической материи, через мир микроорганизмов, растений и животных, вплоть до «венца творения» — человека.

Вселенная — это одно целое, движимое и организуемое жизненной силой, направленной к тому, чтобы в результате разных процессов и преобразований способствовать рождению свободного духа. Человек, высшая ступень земного бытия, последнее звено эволюции «нашего эона», будет найнизшей ступенью в высшем плане, в следующем царстве эволюционного развития. Таким образом, человек в степени совершеннейшего развития находится на грани двух лимитрофных миров. Народы и цивилизации суть сложные организмы, по отношению к которым человек занимает подчиненное положение. Но судьбы народов соотносимы с судьбами отдельных личностей: между одними и другими имеется некая аналогия в смысле естественного развития. История человечества исходит из природы и завершается полным развитием человека в аспекте его свободы и духовности. В этой перспективе Гердер видит три главных периода в истории: 1) эру Древнего Востока, где субъектами свободы были только монархии; 2) эру Греко-римской культуры, расширившую область свободы на всех граждан империи, и 3) заключительную, западноевропейскую эру, в которой германский гений, вдохновленный христианской культурой, осуществит полную свободу каждой личности в рамках соответственного народа.

Младший современник Канта и Гердера, *Георг В. Ф. Гегель* (1770—1831 гг.) создал собственную историософию. Его «Философия истории» была издана посмертно.

но, после 1831 г. Мы уже упоминали о его общей установке. Здесь мы изложим самые общие черты его учения в интересующей нас области.

Верховный закон становления вселенной состоит, согласно учению Гегеля, из трех фаз: тезиса, антитезиса и синтеза. Закон этот был уже известен в древности (ср. платоновскую диалектику, символ лука и лиры у Гераклита, замечательное использование его в построениях св. *Максима Исповедника*), но никто не использовал его с таким грандиозным размахом, как сам Гегель. *Тезис* есть положение идеи-в-себе в состоянии инволюции (невывявленности); *антитезис*, будучи отрицанием тезиса, являет положения идеи-для-себя в состоянии эволюции (проявленности) и наконец *синтез*, отрицание отрицания, возвращает идею к себе и для себя, но уже на высшем уровне. Из интуиции абсолютного бытия этим путем Гегель выводит три первых модификации: понятие, природу и дух. Каждый из этих трех членов в свою очередь и тем же путем проявляется в трех модусах — тезиса, антитезиса и синтеза и т. д. и т. д. Область духа, согласно гегелевской трехчастной схеме, дифференцируется на: 1) субъективно-индивидуальный дух, 2) объективно-универсальный дух и 3) божественно-абсолютный дух.

Первый вид духа, субъективно-индивидуальный, присущ человеку. Гегель наметил его развитие в своей энциклопедии только схематически. Область духа объективно-универсального — это философия права, государства и истории. Область же духа божественно-абсолютного — это философия искусства, религии и философии в собственном смысле слова.

Сосредоточим теперь внимание на развитии объективно-универсального духа.

Исходя из основной установки, дающей перевес общему над индивидуальным, Гегель в государстве усматривал высшую форму общественного развития. Государство не есть производная индивидуальных челове-

ческих слагаемых, а некий организм, в котором обитает дух на соответственной ступени развития. Государство выше общества по той причине, что оно представляет собой произведение идейных факторов, тогда как общество есть результат естественных факторов. Государство в глазах Гегеля было «высочайшим авторитетом», «божественной идеей, существующей на земле», «реальностью нравственной идеи», «воплощением рациональной свободы». Не государство существует для граждан, а наоборот, граждане — для государства. Здесь Гегель полярно отличается от Канта, считавшего, что человек есть самоцель и не может почитаться всецело средством. (Позже Карл Маркс развивал эту мысль Гегеля, подменив национальное государство идеей класса, коллектива.) Государства, каждое отдельно и по-своему, являются носителями модификаций «мирового духа». Каждый народ имеет свою задачу. После исполнения ее жизнь народа приходит в упадочное состояние, а то и вовсе замирает. В совершенном государстве Гегель видел ту область, в которой «общая культурная деятельность человека находит свою центральную реализацию», а «всеобщий дух» — свое внешнее осуществление. В этом и есть смысл истории, которую Гегель делил на четыре периода: восточный, греческий, римский и четвертый, завершительный, — германский.

Фазовость исторического процесса отмечает и Н. И. Новиков (1744—1818 гг.), различая в области борьбы за существование: а) период физической борьбы (со смертельным исходом противника); б) период экономической борьбы; в) период политической борьбы и наконец г) период интеллектуального соревнования.

Некоторые мыслители намечали лишь две точки линейного развития: исходную и конечную. Для примера приведем мнение Герберта Спенсера (1820—1903 гг.), который рассматривал развитие человечества как переход от «неспаянной однородности к спаянной разно-

родности» путем прогрессирующей дифференциации и интеграции личности, культуры и общества.

Основная концепция *прямой и восходящей линии*, присущая не только философам, но и представителям иных наук (биология, экономика, социология и др.), модулировалась иногда, принимая вид *спиральной, колеблющейся, разветвляющейся* или *зигзагообразной* линии. Во всех этих случаях, однако, повторялся лейтмотив двух переплетающихся процессов развития: детерминистического космического процесса и полудетерминированного (или индетерминированного) процесса исторического. Последний представлял собой совместимость в человеческом элементе определенных естественных закономерностей и волюнтаристических (рациональных и иррациональных) начал.

В учение Гегеля о том, что исторический процесс выражается в последовательных *отменах* диалектических противоположностей, внесен был существенный корректив его современником — польским философом И. М. Гознэ-Вронским (1776—1853 гг.), считающим, что не *отмена*, а наследование, восполнение, наслоение, кратко — *преображение* является сутью этого процесса. Приведем основные историософские концепции этого мыслителя.

Вронский — финалист, то есть сторонник учения об исторической целенаправленности (телеологии). Его позицию хорошо можно определить словами русского философа, сказанными много позже и независимо от него:

«История не есть бессмысленная растянутасть человечества на серии поколений, но в ней совершается таинственный и закрытый, но подлинный процесс движения человечества (и космоса) к Царствию Божию»².

² Проф. прот. В. Зеньковский. Основы христианской философии. Тт. I и II. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1960 и 1964 гг. — И. Г. Э.

У Вронского, конечно, встречаются элементы, знакомые нам уже из предыдущих философий истории, но его гениальность состоит в том, *как он синтезировал их, как восполнил их своими новыми построениями и какой яркий свет пролил на смысл фактов и событий и связи между ними.* Объясним его основную интенцию (задачу) на следующем примере.

Предположим, что человек, никогда не видавший часов и не ведающий о существовании таковых, нашел некомплектную кучу деталей сложного часового механизма. Как бы он ни перекладывал эти разнообразные колесики и винтики, он из них часов не сложит по двум причинам: он не обладает ни *идеей часов*, ни всеми нужными для этого частями. Идея часов предшествует деталям часового механизма, объединяет их в одно целое, придает им один смысл, не проистекающий ни из какой-либо детали, взятой отдельно, ни из их агрегатной совокупности. Эту взаимосвязанность частных, на фоне которой проявляется высший смысл, можно формулировать следующим образом: *всякая реальность имеет свою трансцендентную идею (условие, причину).* Подобным образом обстоит дело и с историософией. Из ограниченного количества фактов, доступных нашему наблюдению, можно лишь *составить* описание истории, просвечивать его здесь и там светом интуиции, если ею обладает данный историк. Если принять во внимание, что человечество существует уже сотни тысяч лет и что многочисленные и различные человеческие цивилизации, существовавшие в свое время на земле, канули *бесследно* в бездну забвения, то станет ясно, что сравнительно мизерное количество фактов, случившихся примерно в последние шесть тысяч лет и имеющих-ся в нашем распоряжении для изучения путем *«индукции»*, не являются достаточным основанием для построения суждений о *всей истории человечества.* Для *опытного подхода к историософии у нас никогда не будет достаточного опыта.* Отсюда вывод: если эта дис-

циплина не может быть экспериментальной наукой, то ее высоким уделом остается *интеллектуальная интуиция и диалектика*. Оценка исторического процесса требует, следовательно, метафизической перспективы.

Актуальное развитие разума не позволяет еще вывести из основного принципа, то есть из абсолюта, всех частных историсофии; оно достаточно, однако, для того, чтобы наметить главную цель и поставить основные вехи на пути к ней. В историсофии ведь можно воспользоваться тем же методом, что и в науке: поставить наиболее далеко идущую гипотезу, которая бы проверялась и уточнялась по мере развития разума. Разум, осуществляясь в истории, созревает, осознает себя и сам себя просвещает. А так как сама история, рассматриваемая *sub specie deitatis**, представляет собой разумный процесс, то по мере обоюдного и взаимообуславливаемого развития разума и истории наиболее далеко идущая историсофская гипотеза будет всё больше приближаться к абсолютной правде. Полное соответствие осознанной человеком идеи истории ее прообразу в абсолюте и реализация этой идеи будет свершением замысла Творца о человечестве, то есть исполнением истории.

Рациональность исторического процесса в его целом (то есть как производная всяких направлений, с их отклонениями, перерывами и даже частичными рецессами), незаметная в краткой исторической перспективе, обнаруживается, однако, зорким взглядом в перспективе метафизической. Чем глубже взор нашего разума проникнет в абсолют, тем заметнее проступят абрисы исторических закономерностей в прошлом и исторические долженствования в будущем. Предельная цель истории проливает свет ретроспективно на смысл прошедшего и просвечивает перспективно мгlistую завесу грядущего. Достижение же этой окончательной

* С точки зрения Божественного (латин.). — Р е д.

цели предполагает достижение целей частных и переходящих.

Какова же эта предельная цель? *Обретение человечеством бессмертия.* А каковы предварительные? Это суть цели: физические, религиозные, политические и интеллектуальные; они соответственно относятся к условиям существования, нравственности, организации и наукам. Параллельно им развивалось в человеке сознание чувственное, познавательное, творческое и в качестве будущего — абсолютное. Во всей истории можно различить семь периодов. Четыре из них — уже прошли; в них были проявлены и достигнуты вышеуказанные предварительные и относительные цели. В настоящий период — пятый, — который Вронский называет критическим, человечество на автономных путях, без божественного промыслительного вмешательства (которое усиленно проявлялось в предыдущие периоды), должно открыть и определить свои цели абсолютные: открытие Истины в шестом периоде и возобладание Благом — в седьмом, окончательном. Периоды эти, само собой разумеется, не имеют определенных границ во времени и пространстве.

В критическом периоде наблюдается следующая картина. Отвернувшись от высоких целей, указываемых человечеству религией и философией, народы идут как бы вслепую, пробуя по очереди абсолютизировать некоторые цели относительные (культ личности, культ государства, культ партии, культ класса, культ «златого тельца» — материального богатства, культ техники и т. п.). Но убедившись в тщетности каждой из целей относительных, человечество должно в конце концов преодолеть «барьер относительности», открыть новые абсолютные просторы... Возможны, конечно, неудачи, срывы, рецидивы и даже новые падения... Нашей ли цивилизации, или одной из последующих суждено самим Творцом обрести предельную цель — БЕССМЕРТИЕ?



В XIX в. начинают всплывать новые мотивы в историософские узоры, чтобы занять господствующее положение в XX веке. Эти новые мотивы — попытки обнаружить в истории некоторые *повторяющиеся моменты*, некие ритмы или циклы. Согласно духу дезинтеграции нашей эпохи историософы XX в. отвергают оптимистические теории линейного развития и вступают на путь исследования отдельных культур, цивилизаций или сверхсистем именно как *отдельных целых*.

Перейдем теперь к краткому изложению этих учений.

2

Начнем с учения *Николая Яковлевича Данилевского* (1822—1885 гг.), который, принадлежа хронологически к XIX в., предвосхитил идеи XX века. Своим трудом «Россия и Европа» (1871 г.), приобретшим всемирную известность в двадцатых годах в связи с на шумевшей книгой Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918 г.), Данилевский зачал новую историософскую ориентацию.

Подвергнув суровой критике предшествующие теории, Данилевский выдвигает следующие гипотезы. Историческая роль отдельных народов сводится к одной из следующих трех функций: 1) положительной творческой, цивилизирующей, или историко-культурной; 2) отрицательной, деструктивной и 3) этнографическо-удобряющей, субстратной.

Человеческие цивилизации представляют собой не отдельные звенья линейного прогресса человечества, но — отдельные организмы, обладающие своим собственным, неповторимым совершенством. Каждая отдельная цивилизация является *своеобразным* проявлением человеческого гения наподобие того, как существуют отдельные, самодовлеющие типы архитектуры: ассирио-

вавилонский, египетский, греческий, готический и т. п. Каждая цивилизация возникает независимо от других цивилизаций, развивается, достигает цветущего состояния, затем стареет, увядает и либо исчезает, либо пребывает в окаменелом виде: всё это совершается в рамках самобытной, неповторимой и неподражаемой морфологии.

Жизненный цикл отдельной цивилизации отражает в себе существенные этапы жизни растения: рождение, рост, цветение, плодоношение, увядание, умирание.

Точку зрения Данилевского на всечеловеческое культурное богатство можно сравнить с сокровищницей, состоящей не из всё возрастающего количества, скажем, золота, а из суммы *различных драгоценных камней...*

Таких самоцветов-цивилизаций Данилевский насчитывает десять: 1) египетская, 2) китайская, 3) древнесемитическая (ассиро-вавилоно-финикино-халдейская), 4) индусская, 5) иранская, 6) еврейская, 7) греческая, 8) римская, 9) неосемитическая, или арабская, 10) германо-или западноевропейская.

Последняя из них, десятая — это германо-романская, или западноевропейская цивилизация, в последней жизненной фазе которой имеем счастье (или несчастье?) жить и мы. Некоторые из этих цивилизаций явили собой тип *одинокой, изолированной* цивилизации, другие же были *последовательными* («передаточными»). Эти последние передали плоды своих достижений другим цивилизациям, послужив удобрением почвы, так сказать, для новых культурных образований. Отцветшие цивилизации либо застывают (как, например, китайская), либо жизнь их прекращается под ударом «деструктивных» народностей (монголы, гунны, турки), задачей которых как будто является нанесение *coup de grâce** стареющим и вымирающим цивилизациям. И, наконец, к третьей группе принадлежат племена и народообра-

* Последний удар (франц.). — Р е д.

зования, по тем или иным причинам не выступившие на историческую сцену, как бы остановившиеся в своем развитии: они, наряду с остатками умерших цивилизаций, являются «этнографическим» удобрением для цивилизаций «положительных» и «отрицательных».

Культура цивилизаций в целом непередаваема и непереводима. Передаваемы лишь *элементы* цивилизаций — путем *колонизации, прививки* или *удобрения*. Подлинные цивилизации являются в высшей степени селективными организмами: они вбирают в себя чуждые элементы по своему усмотрению и своеобразно их «переваривают», ассимилируют.

Период цветения данной цивилизации, по сравнению с целой жизнью, сравнительно короток: он длится от четырехсот до шестисот лет. Силы, накапливаемые тысячелетиями, щедро растрачиваются в период цветения. Цивилизация цветет только один раз и дает плод преимущественно в одной области: или религии, или философии, или искусства, или науках и т. п. Каждая цивилизация является самоподобной ценностью (*suū generis**), и нет основания проводить какие-либо сравнения между достижениями отдельных цивилизаций *в целом*. Каждая цивилизация развивает свою *основную тему* в совершенстве, непревзойденном в иных цивилизациях. Эта основная тема окрашивает всю культуру, а не только какую-нибудь отдельную область. В этом смысле можно говорить о «национальных» науках и искусствах; мысль эту будут повторять и развивать последующие историософы, например, Шпенглер, Тойнби, Манхейм и Сорокин.

Отдельные народы (или группы народностей одной культуры) проявляют свои творческие способности в одной области по преимуществу, но возможны «двойные», «тройные» или даже «четверные» темы. Итак, например, возникающая новая русско-славянская ци-

* Из себя происходящей (латин.). — Ред.

вилизация скажет новое и своеобразное слово в четырех областях: религиозной, научно-естественно-технологической, политической и экономической, с преобладанием социо-экономического момента.

Немецкий мыслитель *Освальд Шпенглер* (1880 - 1936 гг.) основал свою историософию на дуалистическом принципе реальности, который был развит уже такими философами, как Гегель (мир-как-история и мир-как-природа), *Вильдебанд* (деление наук на идеографо-исторические и номографо-естественноведческие) и *Бергсон* (два пути познания внешнего мира: интуиция и интеллект), чтобы упомянуть самых значительных... Но его философия истории, как это отмечает исследователь его трудов³, во всех основных позициях тождественна именно тезисам Данилевского, хотя развитие их и способ подачи читателю у Шпенглера совсем самостоятельны и своеобразны. Отметив это теперь, мы уже не будем возвращаться к параллелям и аналогиям позже.

Шпенглер вскрывает ложность одного из наивных подходов к истории, согласно которому события, находящиеся во времени ближе к исследователю, кажутся ему более важными, чем явления более отдаленные. Это как если бы мы, например, утверждали, что Луна больше Юпитера, ибо таково свидетельство наших органов зрения. В связи с этим он решительно отбрасывает «линейные» деления истории (как, например, деление на Древнюю, Средневековую и Новую историю) как наивные и ненаучные. При оценке исторических событий всегда надо сознавать, что наши органы познания дают нам двойной образ мира: «физиономический» (исторический) и «систематический» (натуралистический). Первый достигается путем интуиции, жизненного опыта, аналогий, образов и символов; второй же — путем по-

³ P. Sorokin. *Modern Historical and Social Philosophies*. New York, 1963. — И. Г. Э.

нятий, законов, связи причин и следствий, схем и расчетов.

Понятие человечества как самотождественного на всем протяжении времени субъекта исторического процесса Шпенглер считает фикцией. Для него нет *одной истории*, а лишь определенное количество историй определенного количества культур, из которых каждая произрастает с примитивной мощью из материнского лона, к которому она будет прикреплена в течение всего своего жизненного цикла; каждая такая культура формирует свой собственный материал, свое собственное видение мира, свое собственное понятие человечества. Каждая культура рождается, зреет, находит свои собственные пути самовыражения, затем увядает и умирает. Понятие «стареющего» или «созревающего» человечества, согласно Шпенглеру, — это сущая выдумка.

Идею самобытности и обособленности культур Шпенглер проводит очень определенно; он утверждает, что якобы не существует какой-либо *единой скульптуры, единой математики, единой физики, единой социологии, единой философии, единой экономики* и т. п., но что каждая культура создает свои самобытные дисциплины. Каждая культура цветет без какой-либо целепричины, каждая из них представляет собой отдельный организм, индивидуум, а «мировая история является их коллективной биографией», чем-то вроде своеобразной энциклопедии.

Всякая культура проходит через фазы человеческой жизни: детство, молодость, зрелый возраст и старость. Всякая культура, после периода творческого цветения, умирая, преобразуется в цивилизацию. Вот основные характерные черты умирающей культуры, то есть цивилизации: космополитизм и мегаломания; наукообразный атеизм и мертвая метафизика вместо религии «сердца»; интернационализм вместо патриотизма; деловитость вместо благоговения и традиции; «ес-

тественные права» вместо творимых в юридической практике; деньги и абстрактные ценности вместо плодородной земли и животных; «массы» вместо «народа»; «секс» вместо «родительства»; плебейские развлечения типа «хлеба и зрелищ» вместо церковных и фольклорных церемоний; империалистическая экспансия и урбанизация вместо самососредоточенности культурных и экономических усилий; культ «количества», синкретизм, жажда власти и классовая борьба вместо гармоничности, иерархичности, качества и единства и т. п.

В мумифицированном состоянии цивилизации могут «длиться» сотни и даже тысячи лет, пока наконец не истлеют, чтобы возвратиться в пренатальное состояние мрака материнского лона — в историческое небытие. Возможны еще в этом состоянии окаменения вспышки «второй религиозности» и как будто культурные взрывы, но всё это совершается в малом масштабе, бессильно, псевдоклассично, неплодотворно...

Хотя Шпенглер насчитывает восемь больших культур, более детально он занимается тремя: *Аполлоновской* (классической, греко-римской), *Магической* (арабской) и *Фаустовской* (западноевропейской).

Каждая великая культура имеет свой «первосимвол», то есть «большую посылку», иначе говоря, свою главную тему, свою суть, которая своеобразно окрашивает все составные ее части. Поясним это на примерах.

Классическая, или *Аполлоновская* культура отличается следующими характерными особенностями: чувственно-пространственные формы изолированного объекта, красота физического тела человека, статика, религиозный антропоморфизм, политически независимые города-государства Греции, плоть без истории и внутренней динамики изменения, благоустроенный мир (космос — благоустроенный, упорядоченный, гармонический мир), геоцентризм, гармония сфер, храмы с отдельными колоннами и фигурами и т. п.

Первосимвол Магической культуры (арабской, иранской, исламской, сирийской, израильской, раннехристианской и византийской) выражается в «пещерном» восприятии пространства; в *свободе*; в куполе; в шатровом строении; в дуализме *духа и души* или *души и плоти*; в магическом и мистическом подходе к Богу и миру; в апокалипсическом понятии истории, в числовой символике, в гнозисе, в Талмуде и Каббале, в неоплатонизме и т. п.

Чистое и бесконечное пространство — это *первосимвол Фаустовской* (западноевропейской) культуры с соответственными атрибутами: динамикой, органной музыкой, католической и протестантской догматикой, барокко-династиями, культом Мадонны, светотеневой техникой живописи, коллективными композициями, затерянностью одинокого духа в бесконечности (Зигфрид, Парсифаль, Тристан, Гамлет, *Фауст*), учением о расширяющейся вселенной, понятием бесконечно больших и бесконечно малых величин, развоплощением материи в цифры и энергии, рациональностью, функциональностью мысли, чувства и воли, и т. п.

Всякая великая культура проходит через основные периоды или «возрасты». В течение первого из них *докультурный* человек переходит от стадии пещерной, или номадической, к стадии оседлой, земледельческой. Деревенский житель, тесно связанный с природой и всецело зависящий от «матери-земли» и от стихий, приспосабливается к окружению и в таком ассимиляционном состоянии может пребыть неопределенно долгое время. Основная черта этих людей — *консерватизм*. Второй, *ранний* период культуры состоит из двух фаз: *феодальной* и *аристократической*. С феодализмом начинается *история*, возникает городская жизнь и выделяются две касты, или два сословия: дворянство (военное сословие) и духовенство. В феодальном государстве намечается выделение различных служений (органических функций) и пейзаж украшается двумя новыми, центральными

ми элементами: замком и храмом. Зарождается интеллект в форме традиций, религиозно-рыцарской идеологии, отвлеченных идей и нематериальных ценностей. Город всё еще является крепостью, рынком и религиозным центром. Со временем феодальная структура претерпевает кризис, распадается, и на ее месте возникает аристократический государственный строй, в котором роль города и интеллекта растет, а роль деревенского населения уменьшается. *Центральный* период культуры знаменуется полным развитием национального государства; возникает третий класс — буржуазия, мещанство; разрастающийся город всецело доминирует над деревней во всех областях — политической, экономической, технической, интеллектуальной; возникают новые ценности, связанные исключительно с городской жизнью, приметой социального статуса, вместо «оружия» и «земли» возникает обладание деньгами и кредитом. В этом «апогейном» периоде можно различить три фазы: 1) структурные усложнения государственных форм и появление фронды (дворянско-буржуазное движение против абсолютизма); 2) высшая точка государственности — абсолютная монархия, наибольшая монолитность всего народа в служении «государству» и «монарху», имперские тенденции; 3) распад абсолютизма, революция, «бонапартизм», урбанизация, рост и усиление мещанства, постепенное смещение иерархии ценностей в сторону преобладания ценностей материальных над традиционными.

Последний период культуры — «закатный» — Шпенглер называет периодом *цивилизации*. Ему мы посвятим несколько больше места и внимания, так как в симптомах цивилизации распознаются многие элементы нашей эпохи.

И этот период Шпенглер подразделяет на три фазы, которые вкратце можно определить следующим образом: 1) демократия, господство капитала; 2) цезаризм, примитивизм политических форм, распад националь-

ностей и 3) политический произвол цезарей и выдвинутых (политических временщиков), «рвачество», политическое «кумовство», упрощенчество, декадентство, возникновение угрозы со стороны молодых, «варварских» народов.

Население государства становится городским по преимуществу. Даже у крестьян обнаруживается стремление стать земледельческим пролетариатом. Замечается упадок патриотизма. Исчезают традиционные формы общественной жизни. Город становится «молохом», патологическим «мегалополисом», утрачивает черты органичности и целесообразности. «Массовость» приобретает размах, с трудом сдерживаемый и почти неконтролируемый. Новая жестокая сила — *политика* — выходит на сцену и начинает постепенно брать верх над силой капитала. Вместо родов, общин, артелей, гильдий, кланов и экономических организаций власть сосредотачивается в руках *партий*.

Доминирующая черта городской структуры — шахматное поле: максимальное техническое удобство и максимальное обезличение... Дезинтеграция всякого вида искусства, наступающая после «кубизмов» и «футуризов», бессюжетность живописи, аритмичность и диссонанс в музыке... Отупение и апатия жителя «мегалополисов», растущая преступность, склонность к побегу из такой жизни либо путем возврата к примитиву, либо туда... откуда нет возврата. Машина, изобретенная человеком себе в помощь, становится его *господином*.

Если шпенглеровскую характеристику Фаустовской культуры продлить во времени — в наши десятилетия, то картина, им нарисованная, приобретет, может быть, и некие новые, но логически вытекающие из его основного видения черты: растущее производство синтетических материалов и растущее загрязнение среды; исключительное использование химии и физико-химии для «блага» человечества и сопутствующая этому угроза полного отравления «биоса» (жизни) отбросами этой же

самой химии... Проституирование «священных уз семьи» и половое скотоуподобление. Усовершенствование техники «промывания мозгов» и «манипулирование» ими. «Эскапизм», наркомания, возрастающий интерес к оккультизму и спиритизму, поиски «нового пути» при помощи «пилюли». Возврат к старым культам и религиозным философиям Индии и Китая, к мистицизму, экстазму, гностицизму, астрологии; возникновение «вторичной» волны религиозности, новых сект, появление новых «пророков», «спасителей» и «мессий», новых «юридических» — наряду с возникновением различных культов сатанизма. Возникновение новых (в сущности, забытых старых) «учений», «благовестий», «движений» с характерными чертами братства, любви, пацифизма, антиинтеллектуализма, антиурбанизма, антитехнологизма, антисиентизма, антирационализма... Это религиозно-этическое брожение является верным симптомом заката культуры и, возможно, предвестником Восхода...

Нашу Фаустовскую культуру, находящуюся ныне в фазе «цивилизации», постигнет участь других умерших культур. Шпенглер уверен, что всё величие и могущество нашей культуры рассыплется в прах и после наших технических сооружений останутся лишь полусъеденные ржавчиной обломки, нечто вроде египетских пирамид, римских дорог, Китайской стены и т. п. От огромных «мегалополисов» типа Нью-Йорка, Чикаго, Парижа, Лондона, Токио и т. п. останутся такие же руины, как после египетских Фив, Мемфиса, Ниневии, Вавилона...

Шпенглер — не метафизик. Поэтому он отказывается от создания одной общей историософской концепции, связующей и объясняющей с определенной позиции различные человеческие культуры. Он исследует факты и делает только фактические выводы, поэтому ему можно было бы поставить в упрек, что он приме-

няет метод «индукции». Следует отметить, однако, что поле его наблюдений ограничено десятком культур, возникших на протяжении последнего десятка тысячелетий. Этот отрезок времени наивно короток в сравнении с возрастом не только вселенной, но и нашей Земли. Ограниченность «подопытного» материала приводит его к пессимистическим выводам. Вскрывая внутреннюю диалектику жизни культур, он даже не пытается ответить на вопрос: почему возникают культуры и существует ли какая-либо цель в появлении различных культур? Ссылка на «космические силы» и на «закон Судьбы», которые мы якобы можем постигать только путем интуиции, представляет собой, как бы то ни было, уход в *asylum ignorantiae**.

Другой немецкий историк и философ, *Вальтер Шубарт*, является сторонником «циклической» интерпретации истории, в чем он следует уже с древних времен установившейся традиции (Индия, Персия, отчасти Ветхозаветная традиция, Мексика, Эмпедокл и Гераклит в древней Греции и — в последнее время — Гёте, Ницше, Данилевский и Шпенглер).

Исторический ритм, согласно Шубарту, состоит из четырех последовательных эонов — прототипов культуры и человеческой личности. Эти прототипы он именует: 1) гармоническим, 2) героическим, 3) аскетическим и 4) мессианским. Вот их краткая характеристика.

Гармонический человек воспринимает вселенную как некое гармоническое и совершенное целое (космос), совершенно независимое от человека и его судеб. Идеи прогресса и эволюции чужды ему, история его не интересует, потому что он не чувствует ее либо считает ее мнимой. Гармонический человек чувствует себя здесь, в этой юдоли печали, случайным странником, и своим сердцем и умом он обращается к горнему миру и жаж-

* Убежище незнания (латин.). — Р е д.

дет там обрести вечный и блаженный покой. Яркими представителями гармонического умонастроения были греки эпохи Гомера, китайцы Конфуция, западные европейцы Готики (XI - XVI вв.).

Героический тип считает мир хаосом, требующим упорядочения. Он чувствует призвание организовать природу для своей пользы и поэтому противопоставляет себя ей, инертной, в качестве деятеля и организующего начала. Его основные черты: самоуверенность, жажда власти. Его глаза обращены не горé, но долу. Эмпирия, прагматика, секуляризация — вот область его интересов. Героическое начало и трагический конец — вот его участь. Олицетворение героической ментальности и культуры — Прометей. Наиболее характерный период — западноевропейская динамическая культура после XVI века.

В то время как первый тип, не будучи заинтересованным в преобразовании мира, оставался, так сказать, в нейтральных отношениях с ним и гармонически сочетался, третий тип, аскетический, занимает по отношению к миру враждебную позицию, считая материю злой по существу, гнушаясь ею и боясь ее искушения. Здесь мы имеем дело уже не с динамизмом, как в героической культуре, и не со статикой, как в гармонической культуре, а попросту — со стагнацией. Аскетический тип все ценности усматривает в потусторонней области, оставляет эту юдоль без сожаления, больше того, — ревностно желает с нею проститься навсегда. Это мировоззрение представлено индуистами, буддистами, неоплатониками, отчасти монтанистами и последователями манихейской ереси в первые века христианства.

Мессианский тип чувствует призвание преобразовать мир согласно божественному плану, какой прозревается в глубине человеческой души. Мессианский тип проецирует на внешний мир лад и гармонию, которые он ощущает в себе. Подобно героическому типу, он хочет изменить мир, но, в отличие от первого, он руково-

дится не эгоистическими мотивами, а альтруистическими. Он чувствует призвание исполнить волю Божию и пытается всемерно ощутить ее. Наподобие гармонического типа, он любит мир, но не таким, каков он есть, а таким, каким он может, а потому и должен быть. Достижение этой цели он определяет в будущем времени. Мотивы его действия: любовь, синтез, единение в гармонии, мир, идеал. Динамизм мессианского типа — просветленный динамизм.

Подводя итоги, можно сказать, что вышеприведенные четыре типа ментальности и культуры определяются отношением человека к миру, причем в гармонической культуре мы имеем *согласие с миром*, в героической — *господство над миром*, в аскетической — *бегство от мира*, в мессианской — *преображение и спасение мира*.

Прототип культуры каждого эона совпадает с границами одного народа, часто охватывает несколько родственных народов, иногда же — весь континент. Каждый прототип доминирует над отдельными личностями данной эпохи, которые либо полностью отражают в себе ее характер, следуя ей, либо же сознательно противопоставляют себя; это, как правило, является уделом меньшинства.

Все эпохи и все народы — равны перед Богом. Даже *безбожные* периоды исполняют некую положенную им роль, как, например, паузы в музыкальном произведении.

Отцветание и умирание одного эона совпадает с прорастанием другого, нового. Стыковые периоды отличаются своей апокалипсичностью, катастрофичностью, крушением старого миропорядка. В наше время мы наблюдаем умирание западноевропейского, героического, прометеевского эона, о чем свидетельствуют лучшие мыслители Европы: Мережковский (закат «поатлантического» человечества), Унамуно (закат христианства), Шпенглер (закат тысячелетней западной культуры),

Маркс (угасание капиталистической и собственнической эпохи), Бердяев (сумерки эпохи Возрождения).

Сгущаются сумерки над Западом, но как будто начинает ощущаться предрассветность на Востоке. Шубарт думает, что приближается заря нового эона, Мессиянского (Иоаннистического), в котором решительную роль дано сыграть славянству с Россией во главе.

Но Шубарт не решается проникнуть в метаисторию и оттуда осветить смысл истории. Он приходит только к заключению, что

«за сменой прототипов скрывается, по всей вероятности, какой-то неизвестный закон, согласно которому божественные творческие энергии то преизливаются в данный эмпирический мир вещей, то приостанавливаются. Не будучи способными объяснить их во всех деталях в рациональном порядке, мы можем это делать лишь гадательно; все эти единообразности мы можем молчаливо постигать интуитивным путем или же намекать на них в притчах и символах» («Европа и душа Востока»^{*}).

(Окончание следует)

^{*} Вальтер Шубарт. Европа и душа Востока. Перевод с немецкого В. Васильева (Востокова). Изд-во «Посев», Moenchhof, 1947. — Р е д.

Исследование новообразований и далевских слов у Солженицына

Словарное своеобразие языка Александра Солженицына и его языковое новаторство было отмечено в критической литературе сразу же после появления его первого произведения «Один день Ивана Денисовича» в 11 номере журнала «Новый мир» за 1962 г. Своеобразие это оказалось неслучайным в его языке. Все последующие его произведения как художественные, так и публицистические, напечатанные либо в Советском Союзе (их немного — «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела»), либо на Западе («В круге первом», «Раковый корпус», «Август Четырнадцатого» и др.), отмечены той же редкой лексической оригинальностью.

Солженицын отличается от своих предшественников, русских классиков, не тем, что он пытается оживить и освежить современный литературный язык за счет народного (этим занимались многие), а тем, что он делает это по заранее составленному широкому плану¹. Поэтому изучение словарных особенностей языка Солженицына было начато с изучения его статьи «Не обычай дёгтем...» Там он указывает на некоторые причины обеднения лексикона современного литературного языка («наша речь пострадала», «пороки, сильно поразив письменную речь», «словарный запас неуклонно тощал», «словарный запас ... скудеет») и предлагает реверсировать этот процесс посредством «осторожного словарного расширения: продуманного употребления (в

авторской речи!) ...слов», заимствованных из народной лексики (главным образом, из словаря Даля), а также новообразований, использующих естественные преимущества русской грамматики. Таким образом, Солженицын предлагает некий план «обогащения» русского литературного языка, причем здесь (как и во всей статье) термин «обогащение» означает только процесс введения писателем новых и далевских слов в литературный язык; этот термин вовсе не является суждением о ценности этих слов.

Задача исследования состояла в том, чтобы дать, с точки зрения современной системы языка, семантический, морфологический и словообразовательный анализ новообразований Солженицына и заимствованных далевских слов; определить тенденции и предпочтения автора и приблизительно оценить количество слов в различных грамматических категориях. В этой статье рассматриваются только: а) новообразования Солженицына и б) слова, заимствованные из Толкового словаря Даля, не вошедшие в нормативные словари современного литературного языка.

Работа по исследованию «словарных особенностей» заключалась в следующем:

а) выявление всех «необычных слов» в произведениях Солженицына, опубликованных до 1973 года (около 2500);

б) отбор слов-«особенностей» (около 1350) из полученной коллекции;

в) расписывание и толкование слов;

г) разбивка по грамматическим категориям;

д) систематизация слов внутри каждой грамматической категории по словообразовательным типам;

е) комментарии к тем словам, где они казались нужными;

ж) статистика слов и частота их употребления автором;

з) общая характеристика слов-«особенностей».

Хотя Солженицын в своем плане предлагает «осторожное словарное расширение: продуманное употребление (в авторской речи!)» новых и далевских слов, анализ словарного состава его произведений показал, что он иногда (как бы отступая от плана) дает новообразования и далевские слова и в прямой речи. Однако количество таких отступлений незначительно: 27 новых слов и 39 далевских, то есть менее 5% всех «особенностей».

В качестве нормативных были использованы оба академических словаря современного литературного языка:

1. «Словарь современного русского литературного языка» в 17 томах, АН СССР, 1948—1965 (САН).
2. «Словарь русского языка» в 4 томах, АН СССР, 1957—1961 (СРЯ).

В работе над «особенностями», заимствованными писателем из далевской лексики, был использован «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (второе издание 1880—1882). Даль попытался создать единственный в своем роде в русской лексикографии словник, в основу которого он положил «живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целостность и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной, разумной русской речи, взамен нынешнего языка нашего, кажечника»². В целом этот словарь не только охватывает просторечно-диалектную лексику и профессиональные диалекты, но в нем также имеются церковнославянизмы (правда, по словам Даля, только те, которые употребляются в живом языке) и иностранные слова. Кроме того, словарь дает множество иллюстраций слов, употребляемых в фразеологических сочетаниях, пословицах, поговорках, прибаутках.

СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СЛОВА?

Одноразовое употребление новых слов Солженицыным может навести на мысль, что это — «случайные» слова. Вопрос о таких словах не так давно вновь обсуждался в русской лингвистике; в 1957 году они были названы «окказиональными»³.

«Случайные», или «окказиональные» слова определяются современными русскими лингвистами следующим образом:

а) они не предлагаются автором для внедрения в язык;

б) значение их полностью зависит от контекста; вне контекста они не могут быть поняты;

в) немногочисленны в лексике данного писателя (исключения — русские поэты — Белый, Хлебников, Маяковский);

г) возникают непроизвольно, «так сказалось» (исключения — Белый, Хлебников, Маяковский).

У Солженицына же:

а) новые слова именно предлагаются автором для «осторожного словарного расширения»;

б) в подавляющем большинстве они выразительны и понятны без контекста;

в) весьма многочисленны (около 800) в произведениях, до сих пор написанных;

г) созданы в результате намеренного словообразовательного творчества.

Единственное, что сближает солженицынские новые слова с окказиональными, это то, что те и другие имеют авторов, однако цели авторов в создании этих слов совершенно различны.

Хотя некоторые новообразования Солженицына и могут быть отнесены к категории случайных слов (они есть в языке каждого писателя), основную массу его новых слов следовало бы назвать экспериментальными. То же можно сказать и о словах, выбранных автором из

словаря Даля, — это эксперимент по привлечению в язык «достойных русских слов»⁴, попытка обогащения литературного языка.

О значении и оценке солженицынского языкового эксперимента пока говорить еще рано, слишком мало прошло времени. Но можно сделать некоторые наблюдения, как и почему был поставлен этот смелый лексический опыт.

МОТИВЫ К ОБОГАЩЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Некоторые мотивы указаны самим автором в его программной статье «Не обычай...». В ней говорится, что расширение словарного состава современного литературного языка необходимо потому, что: «Наша письменная речь пострадала: в своем словарном запасе, и грамматическом строе, и самое главное, в складе... Словарный запас неуклонно тощал...»; что «словарный запас устной речи, хотя и переполнялся множеством терминов науки и техники и преходящим жаргоном,... тоже скудеет»⁵.

Обеднение словарного состава современного литературного языка Солженицын, с одной стороны, объясняет причинами трехсотлетней исторической давности, а именно, что «еще с петровских времен» русская речь страдала «то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих...». С другой, — русские писатели «ленились выискивать и привлекать достойные русские слова, или стыдились их 'грубости', или корили их за неспособность выразить современную высокую тонкую мысль»⁶.

Указанные причины, однако, кажутся далеко недостаточными, если говорить об оскудении языка в советскую эпоху. О сугубых причинах обеднения языка за последние пятьдесят лет, которых Солженицын не

может не знать, ему пришлось умолчать. Между тем причины явны.

Нет свободы политической жизни, нет свободной религиозной жизни; цензура парализует огромную область гуманитарных наук и делает ее убогой и бесцветной. Целые слои русского общества были уничтожены (интеллигенция, духовенство, купечество, зажиточное крестьянство и др.). С людьми умер их специфический язык. Духовная бедность и материальное убожество подсоветской жизни, естественно, привели к обеднению словарного состава современного русского языка. Прав И. А. Бодуэн де Куртене, говоря в предисловии к новому, исправленному и дополненному изданию словаря Даля, что словарный состав языка прежде всего отражает действительную жизнь данного народа⁷.

Обязательные требования «соцреализма» и советская цензура создали благоприятную почву для чрезвычайного развития словарных штампов у советских писателей. Словесный шаблон позволял писателям легче приноровиться к духу и требованиям советской цензуры. Это привело к уничтожению «живого изложения» и к обеднению литературного языка. Еще в 1934 году в своей статье «О драматургии» советский писатель А. Н. Толстой писал, что язык готовых выражений, штампов «тем плох, что в нем утрачено ощущение движения, жеста, образа... 'Буйная рожь' — это образ. 'Буйный рост наших заводов' — это зрительная метафора. 'Буйный рост нашей кинематографии' — здесь уже полная потеря зрительного образа, бессмыслица...»⁸.

В конце пятидесятых годов в «Новом мире» и в серии сборников «Вопросы культуры речи» под редакцией Ожегова поднимается кампания «против словесных штампов». Оказывается, словесный шаблон, «обедняя язык, обедняет тем самым возможность выражения нашей мысли»⁹. В. В. Виноградов, говоря «о языке советских художественных произведений», прямо указывает на их первый недостаток — «это часто проступающая

стилистическая одноцветность, монотонность, словесная бледность и серость, стандартность языка автора»¹⁰. По мнению Виноградова, «шаблонизацией стиля» страдают как менее крупные советские писатели и поэты, так и известные и маститые (А. Сурков, С. Михалков, К. Симонов и другие), только первые заметно в этом деле превосходят последних, особенно в прозе и драме¹¹. Позднее, в 1965 году, эта же тема подхватывается «Литературной газетой». Здесь опять выступает Виноградов, которому приходится признать, что некий Алексей Югов, этот «защитник древней русской старины, фольклорных вольностей и просторечно-диалектных прав... справедливо пишет», что в языке советской литературы лишь «сохраняется смысловое, событийное, но исчезают, испаряются цвета, краски, зримость художественного описания, его скупость»¹². То есть исчезает всё то, что делает литературу художественной. А. Твардовский в своей интересной статье «О Бунине» сокрушается, что «мы [советские писатели. — В. К.] долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение...»¹³. На выступление Виноградова Солженицын отвечает своей статьей «Не обычай дегтем:..», в которой указывает на пути обновления и обогащения словарного запаса русского литературного языка.

Одновременно с процессом обеднения литературного языка в советскую эпоху происходит другой процесс — некоторое обогащение языка а) за счет заимствований из европейских языков и б) за счет «возрождения устаревшей лексики».

Заимствованиями из европейских языков русский язык пользовался исстари. Однако огульное, беспорядочное внедрение иностранных слов неоднократно приводило к ущербу литературного языка, а не к его богатству. Тяготение к иностранным словам в советскую эпоху ярко отражено в словаре «Новые слова и значения» 1971 года, составленного работниками Института русского языка АН СССР. Этот словарь-справоч-

ник «включает, как правило, слова литературного языка»¹⁴ и «содержит около 3500 новых слов и значений,... которые появились в 50 - 60 годы XX века или несколько ранее»¹⁵. В этом словаре имеется лишь около 750 чисто русских слов (то есть 21%); остальные — иностранные, взятые в чистом или обруселом виде. В статье «От издательства» сказано, что «...большая часть слов... употреблялась в узких языковых сферах,... теперь же через прессу и литературу массового пользования стала (или становится) достоянием литературного языка»¹⁶. Согласно этому справочнику, в СССР употребляются такие слова: гидесса, джинсы, дизайнер, кар, карт, минискерт, паблисити, миксер, шоу, новеллистка, круиз, круизный, стриптиз, стриптизный, стриптизка, футболисть, чипсы и мн. др. Как пишет Солженицын, «...наталкивали без удержу иностранных слов... часто никчемных»¹⁷. По отношению к заимствованиям с западноевропейских языков Солженицын (как Пушкин, Толстой) держится умеренного курса: принимает обрусевшие и необходимые слова (энергия, нерв, процесс, диалог, проблема, профиль, футбол, хирург) и отвергает ненужные слова, которые имеют эквиваленты в русском языке.

Еще один процесс обогащения современного литературного языка отмечается советскими лингвистами: «возрождение устаревшей лексики»¹⁸. После революции 1917 года, в связи с ломкой всей государственной системы, выпали из активного русского словаря такие слова, как губернатор, голова, чиновник, министр, генерал, солдат, офицер, гвардия и мн. др. Эти слова ушли в так называемый пассивный словарь и стали своего рода «историзмами». А. Н. Кожин отмечает, что многие из этих слов постепенно возвращаются в «действующий» словарь, иногда с новым оттенком в значении или с новой экспрессивной окраской. Так, например, вновь стали активными такие слова, как солдат, офицер, генерал, министр и т. п.; прилагательное «знатный» стало вхо-

дить в словосочетания, которые до революции были бы немислимы: знатный животновод, знатная доярка, знатная ткачиха и т. п.¹⁹. Однако обогащение словарного состава за счет возрожденной лексики такого типа незначительно.

В этих неблагоприятных для русского литературного языка условиях появляется статья Солженицына «Не обычай дегтем...»²⁰. В ней признается «порча русской письменной речи» и утверждается, что «настали решающие десятилетия, когда еще в наших силах исправить беду» путем «очень осторожного словарного расширения, продуманного употребления (в авторской речи!) таких слов, которые хоть и не живут в современном разговорном языке, но настолько близко расположены за стёсами клина и настолько понятно употребляются автором, что могут прийтись по нраву говорящим, привлечь их — и так вернуться в язык»²¹. Под словами, которые «расположены за стёсами клина», Солженицын понимает народную лексику, то есть диалектные и просторечные слова, отсутствующие в нормативных словарях. Главным источником этой лексики для Солженицына является словарь Даля.

В самом стремлении Солженицына включить народную лексику в литературный словарь нет ничего оригинального. Как пишет В. И. Чернышев: «Не только Пушкин и последующие писатели, но и Ломоносов и Карамзин признавали за народным языком обширные права на употребление в речи образованных людей и в книгах»²². Большие художники русского слова (Гоголь, Тургенев, Лесков, Толстой), владея не только литературным языком, но и живой разговорной речью, стремились также усвоить различные диалектные и просторечные слои языка. В. В. Виноградов пишет «о языке Толстого (50—60-е годы)», что «интенсивно развиваются, углубляются, разрабатываются новые формы стиля, в первую очередь те, которые ориентируются на разговорную речь и просторечие, на крестьянский

язык и стили устной народной словесности»²³. То же можно сказать и о языке других писателей второй половины XIX века (Лесков, Мельников-Печерский, Златовратский и др.). Но ни у одного русского писателя, однако, нельзя обнаружить какого-нибудь заранее обдуманного плана использования народной лексики. Сама идея «обогащения» литературного языка не была актуальной ни в XIX веке, ни в XX до революции 1917 года. Только в советскую эпоху язык попадает в беду, когда пришлось большому русскому писателю заговорить об обогащении языка как о насущной необходимости, не терпящей отлагательства.

Изучение всех опубликованных по 1973 г. текстов Солженицына показывает, что он старается обогатить русский литературный язык по некоторому определенному плану, основные положения которого изложены им в статье «Не обычай дегтем...»

Вкратце эти положения можно сформулировать так:

1. По возможности употреблять краткие отглагольные существительные мужского и женского рода (перетаск, сохран, убывь, нагромозка, приноровка)²⁴, вместо «долгих» среднего рода (перетаскивание, сохранение, убывание, нагромождение, приноравливание). Такие краткие существительные Солженицын считает «сильными и поворотливыми».

2. По возможности меньше употреблять отвлеченные существительные: «содержать их во фразе поменьше».

3. Образовывать новые приставочные существительные (предместник) вместо общеупотребительных длинных выражений: мой предшественник на этом месте.

4. Свободно образовывать чисто русские наречия (вприпорох, дотонка, одвуконь), «в которых таится главный задаток краткости нашего языка».

5. Больше образовывать новых приставочных глаголов (остегнуться, расклонить, уклонить, вышатнуть,

пришатнуть, доумевать, узвать) от основ общеупотребительных глаголов (застегнуться, наклонить, отшатнуть(ся), недоумевать, звать).

6. «Выискивать и привлекать достойные русские слова» (осязательность), вместо того чтобы «наталкивать без удержу иностранные слова» (конкретность).

7. Словарь Даля является основным источником лексики, отвечающей п.п. 1—6, для «осторожного словарного расширения» литературного языка Солженицыным.

В выше перечисленных положениях примеры взяты Солженицыным из словаря Даля. Чисто солженицынские новообразования следуют этим примерам: +КРЯХТ, +МОРЩЬ, +ОТДАЛЕННИК, +ВРАЗНОКАП, +ДОКОСТИ, +ВГОВАРИВАТЬ, +ПОПРИГАСНУТЬ, +НЕЗАМЕЧАНИЕ и другие²⁵.

В добавление к этим положениям следует отметить у Солженицына (как, впрочем, и у нескольких других писателей) большую свободу образования новых составных существительных и прилагательных.

Обращение к словарю Даля как к сокровищнице «меткого народного слова» было бы естественным при любых условиях; все русские писатели заглядывали в него. Словарь Даля, по словам В. В. Виноградова, «всегда будет спутником не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека, интересующегося русским языком»²⁶. Солженицыну же как будто помог случай: он обнаружил словарь Даля в лагере, где он работал «чернорабочим, каменщиком, литейщиком». Словарь этот он, по-видимому, упорно изучал в течение 1950—1952 гг., как свидетельствует Б. В. Бурковский, работавший вместе с ним в лагере: «он часто лежа на нарах читал затрепанный том словаря Даля и записывал что-то в большую тетрадь»²⁷. Можно себе представить, с каким рвением накинудся на словарь Даля в тюремных условиях молодой человек, всю жизнь мечтавший стать писателем! Один из героев Солженицына

— Нержин — упоминает, что он имел в лагере «'Толковый словарь' Даля... издания 1881 года»²⁸; по-видимому, это место — автобиографического происхождения.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ

Работая над языком, Солженицын, по-видимому, рассматривает развитие современного литературного языка как процесс, в котором «происходит постоянное взаимодействие литературного языка и диалектов»²⁹. Правда, этого он нигде ясно не формулирует.

Взгляд Солженицына на развитие литературного языка отличается от слишком радикального взгляда Даля, который «...характеризуется полным разрывом со стилистикой современного ему литературного языка, отрицанием церковно-книжной традиции и нетерпимостью к любым формам и лексике западноевропейских языков, перенесенным на русскую почву», и полным признанием «обработанного простонародного языка» как литературного³⁰. Напротив, Солженицын стремится только к обогащению литературного языка, но не к разрушению его системы. Мы также не находим у Солженицына принципиального отвержения церковнославянской стихии в литературном языке.

Точка зрения Солженицына, поскольку это можно усмотреть из его опубликованных произведений, близка ко взглядам В. И. Чернышева: «За последнее столетие нашей литературной лексики произошел огромный сдвиг в сторону расширения литературного языка за счет просторечия и языка областных говоров, но при этом сдвиге не сломилась традиционно-книжная основа языка; всё время в русском литературном языке, при воздействии диалектов и просторечия и при пользовании ими шел отбор и разбор просторечных и областных элементов, определялось их стилистическое место, их смысловая и художественная ценность»³¹.

Одна из трудностей выделения слов-«особенностей»

из авторской речи и статистической их оценки состоит в том, что в произведениях Солженицына встречается тесное переплетение элементов сказа, несобственно-прямой речи и особого приема, в котором Солженицын использует в авторской речи слова и понятия своего персонажа. Получается, по словам Т. Г. Винокур, некая «высшая ступень слияния героя и автора»³². Разбор стилистических приемов Солженицына не относится к теме этой работы; сомнительные случаи статистически отнесены к авторской речи. Примеры (из «Одного дня...): «А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо» (стр. 130). Здесь Солженицын говорит языком Шухова. «Как хвост [колонны зэков. — В. К.] на холм вывалил, так и Шухов увидел: справа от них, далеко в степи, чернелась еще колонна, шла она нашей колонне наперекос и, должно быть увидав, тоже припустила» (стр. 94)*. (Выделено мной. — В. К.). Здесь начало предложения принадлежит Солженицыну, конец — Шухову.

Почти все слова-«особенности» употреблены в авторской речи. Лишь самая незначительная часть этих слов использована в прямой и несобственно-прямой речи, по-видимому, по стилистическим мотивам.

Почти все слова-«особенности» употреблены в текстах по одному разу, что указывает на их экспериментальный характер — автор их не навязывает. Лишь полдесятка слов писатель употребляет по 4—6 раз, считая их, по-видимому, заслуживающими внедрения. (Примеры: +КРАСИЛЬ, +ГАДСТВО, +МЛАДШИНА, +ПЕРЕКОСОБОЧЕННЫЙ, +ГОТОВНО, +ВПЕРЕКРЕСТ, +ИЗБОКУ, ПЕРЕКЛОНИТЬСЯ (Д), УСПАТЬ (Д), ЕЖЕДЕННО (Д).

* Цитируется по изданию: Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах, т. I. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970. — Ред.

Из выделенных слов-«особенностей» 60% приходится на солженицынские новообразования и 40% — на слова, взятые из словаря Даля.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Около 99% новых слов созданы по способу морфологического словопроизводства, то есть путем аффиксации, сложения или бессуффиксного образования. Этот способ в русском языке наиболее продуктивен. Новые слова создаются «на базе существующих в языке основ и словообразовательных элементов и правил соединения их в словесные единства»³³. В обогащении лексики Солженицыным можно различить следующее.

Расширение синонимических рядов. Большая часть новообразований писателя приходится на лексические синонимы и, вероятно, не случайно. Еще Л. В. Щерба отмечает: «Синонимы... являются до некоторой степени арсеналом готовых обозначений для вновь возникающих понятий, дифференцирующихся из старых»³⁴. И далее: «...достоинство литературного языка определяется степенью сложности системы средств выражения, то есть богатством готовых возможностей выражать разнообразные оттенки»³⁵. Солженицын создает а) синонимы с разнообразными смысловыми оттенками, как, например: +ВЗГУЛ — начало гула, уточнение к существительному «гул»; +ДОРЕШИТЬ — закончить решение, уточнение к глаголу «решить»; +РАССКОРОМНЫЙ — усиление признака к прилагательному «скромный»; +МАСТЕРОВИТЫЙ — искусный в ремесле; б) синонимы с экспрессивной или эмоциональной окраской, например: +УКРЫВИЩЕ, +ПРИЖАТЕНЬКИЙ, +ИОТОЧКА, +СОЛДЯГА, +РАЗБИТНЯГА, ГРЕМЕЖ и др.; в) точные синонимы слов, имеющих в нормативных словарях, например: +ВЫТАИНА (выталина), +НЕСПЕШЛИВЫЙ (неторопливый), +СНАРОШКИ (нарочно), +ВСКАТИСТЫЙ (крутой), +ОТ-

РУБИСТО (обрывисто, резко, круто), + НЕМОЧНЫЙ (бессильный) и мн. др.

Расширение антонимических пар посредством приставок: + НЕУМЕЛЕЦ — умелец (САН*), + НЕДОБЫЧНИК — добычник (Д), + РАСЩУРИТЬСЯ — прищуриться, + НЕОТВЫЧНЫЙ — отвычный, + БЕЗУДАЧЛИВЫЙ — удачливый, + НЕВСКОРЕ — вскоре и мн. др.

Расширение гнездовых образований («заполнение пустых клеток») русского словаря. Если имеются, например, прилагательные «лучший», «ничтожный», «громкий», «молочный», то писатель образует от них глаголы + ЛУЧШЕТЬ, + НИЧТОЖНЕТЬ, + ГРОМЧЕТЬ, + МОЛОЧНЕТЬ; от существительного «долдон» — прилагательное + ДОЛДОННЫЙ, от существительного «лежебока» — глагол + ЛЕЖЕБОЧНИЧАТЬ; посредством приставок писатель весьма часто создает новые глагольные единицы типа + ЗАЛИСТНУТЬ, + ОТЛИСТНУТЬ, + НАГУЖИВАТЬ (у Даля — погуживать) и отглагольное существительное + ПРИГУЖИВАНИЕ; от нового глагола + ГРОМЧЕТЬ — + ПОГРОМЧЕТЬ и т. п.

Расширение глагольных видовых образований. Например, в литературном языке имеется глагол стонать/застонать: Солженицын добавляет многократный вид + ЗАСТАНЫВАТЬ; от глагола «застыдиться» — + ЗАСТЫЖИВАТЬСЯ, от глагола «избочиться» — несовершенный вид + ИЗБОЧИВАТЬСЯ, от далевского глагола «нахрипеть» — несовершенный вид + НАХРИПЫВАТЬ и мн. др.

Использование существующих слов в иных значениях. Здесь исходным материалом для писателя являются, главным образом, далевские слова, значения которых Солженицын меняет; новые значения не связа-

* САН — здесь и дальше означает: Словарь современного русского языка в 17 томах, АН СССР, 1948 — 1965. — Ред.

ны с далевскими и не выводимы из них. Значительно реже Солженицын использует слова, которые имеются и в словаре Даля, и в нормативных словарях. В единичных случаях использованы слова, встречающиеся только в литературном языке. Далевский глагол «доспевать/доспеть» со значениями «поспевать, созревать ... об овощах, плодах: сделать, сработать, устроить; добыть, достать» у Солженицына значит «успевать, поспевать» («Шухов доспел валенки обушь»; или: «А вослед доспевал им Благодарев...»); далевский глагол «отпугаться» в смысле «быть отпугану» означает у Солженицына «перестать пугаться» («Я уж в жизни пуган-перепуган и отпугался»); далевское субстантивированное прилагательное «навершнóй» в значении «верховой, конник, вершник» у Солженицына используется как относительное прилагательное со значением, относящимся к наверх, то есть кверху («...знамя, ...с крестом георгиевским в наверхней скобе...»); далевский глагол «разумнѣть» в смысле «поглупеть» у Солженицына принимает противоположное значение «становиться разумнее» с переносом ударения «разúмнеть» («Он холодел, разúмнел и даже в насмешку складывались его губы.»); далевский глагол «разрешетить» в значении «расписать решеткою» у Солженицына переосмысливается в «снять решетку» (...окно можно было бы и разрешетить, но тюремное начальство, после колебаний, решило всё же решеточку оставить»).

Интересны несколько новообразований от слов, которые имеются и у Даля, и в нормативных словарях. Так, прилагательное «закатистый» в значении у Даля «разгульный, бойкий; резкий, крепкий» и в САН «долго не прекращающийся, раскатистый (о смехе)» у Солженицына значит иное: «...он выбрался из закатистой кровати...», то есть из кровати с сеткой, в которой человек провисает, от глагола «закатиться» (САН). Такие существительные, как «потяг», «сохатый», «разрез», с

несколькими значениями у Даля и в СРЯ*, приобретают у Солженицына еще новые значения. Как показывают вышеприведенные примеры, образуются случайные омонимы, которые как таковые едва ли составляли цель автора.

Стремление к экономии языка. Отсюда его образование составных существительных типа +ГОЛОВОЛОМАННИЕ, +СЛЕЗОГОВОРЕНИЕ (уговаривание со слезами), +СОЛНЦЕГРЕВ (нагревание солнцем) или сложных прилагательных типа +КРАСНОВОРСИСТЫЙ (с красным ворсом), +ЗОЛОТОГЕРБЫЙ (с золотыми гербами), +ДРЕМУЧЕМОРДЫЙ (с заросшим лицом) и др. Сюда же относятся новые слова, образованные из устойчивых фразеологических или предложных сочетаний: +НЕКМЕСТНЫЙ, +НЕКМЕСТНО (не к месту), +НЕСРУЧНО (не с руки), +НАДАЛТАРЬЕ (помещение над алтарем), +ПРИОГРАДЬЕ (место при ограде) и др.

Предпочтение Солженицыным кратких отглагольных существительных типа +ЗАВЯЗ, ОБСОХ, ПРОЩУП и др. также отражает его стремление к экономии языковых средств.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Только около 1% новых слов созданы семантическим способом; эти слова возникают у Солженицына в результате переосмысления, главным образом, далевских слов. Так, далевское слово «добычник» со значениями «добывающий что промыслом или охотой, ловлей; вообще человек, добывающий деньги; стяжательный, жадный, корыстный человек» у Солженицына получает еще одно значение «расхититель, мародер» («По казарме бродило несколько добычников...»); далевское

* СРЯ — здесь и дальше означает: Словарь русского языка в 4-х томах, АН СССР, 1957—1961. — Ред.

прилагательное «застромчивый» в значении «втычливый, способный втыкаться концом. Застромчивый нож» у Солженицына означает свойство материала, вязкий («...той сшивки полукартонных бланков, застромчивых под пером...»); далевский глагол «обопнуться», то есть «опереться ногами», у Солженицына приобретает значение «упереться, упорствовать» («Но Грачиков обопнулся на своем...»).

Незначительное количество чисто семантических новообразований у Солженицына, по-видимому, объясняется тем, что этот способ вообще менее продуктивен, чем морфологический. Кроме того, при этом способе появляются омонимы с неясным вне контекста значением. Например: глагол «продрогнуть» у Даля значит «продрогнуть от холода, от мокроты»; в СРЯ — «озябнуть до дрожи, до озноба»; у Солженицына: «...но какая-то неуверенность продрогнула в ее глазах»; здесь +ПРОДРОГНУТЬ употреблено в значении «дрогнуть» с приставкой ПРО-, то есть сквозь, через.

В своих новообразованиях обоими способами Солженицын явно избегает омонимов: их встречается не больше 2⁰/о.

ДАЛЕВСКАЯ ЛЕКСИКА

Особое внимание уделяет Солженицын далевской лексике. Он пишет: «Употребил [предместник, слистнул, перевильнуть.—В. К.] — и, пожалуй, зашумят, что словотворчество, что выдумывают какие-то новые слова. А ведь это только бережный подбор богатства, рассыпанного совсем рядом, совсем под ногами»³⁶. Источником этого богатства писатель считает словарь Даля. В отборе далевской лексики он руководствуется теми же критериями, что и в своих новообразованиях; в частности, расширяет систему синонимов, этих «...готовых возможностей выражать разнообразные оттенки»³⁷. Далевские слова ТЕРПЕЛЬНИК, ЗАГАР, ЮЛКИЙ, ЖАЛИТЬ,

ОСВЕТ, ЮРИТЬ и др. имеют точные синонимы в нормативных словарях (мученик, начало, верткий, жалеть, рассвет, метаться); далевские слова ИЗЗАБОТИТЬСЯ, ПОГУЖИВАТЬ, СОЖДАТЬ, ПЕРЕМЕСЬ, ИЗНЕМОГА, ОТЕПЛЕТЬ, РАСПАЛ и др. имеют приблизительные синонимы в нормативных словарях (измучиться заботой, гудеть от времени до времени, выжидать, смесь, изнеможение, потеплеть, разгар). Солженицын прямо предлагает расширять лексические единицы от одного корня за счет далевских слов: «...мы усвоили 'отшатнуться', несколько дичимся формы 'отшатнуть', а как хорошо употребить вышатнуть (кол из земли), пришатнуть (столб к стене)»³⁸. Все эти слова взяты писателем из далевского словаря. Еще примеры: ИССЛЕДИТЬ (дойти розыском), РАСКЛОНИТЬ (развести врозь, расширить концами, растопырить), ПРОРАЗУМЕТЬ (провидеть, предвидеть, понимать, знать и проникать умом наперед), УКЛОНИТЬ (отвращать, удалять), ОБМИНУТЬ (миновать, обойти), ПЕРЕХОТЕТЬСЯ (расхотеться, перестать хотеться) и мн. др. Далевские слова типа ПЛОШАК (оплошный человек), ГРЕВО (печное тепло), ЗАНЕБЕСНЫЙ (выше небес находящийся), ВЫГОЛОДАТЬ (изнуриться голодом), ОТЗОЛАЧИВАТЬ (отсвечивать золотом), МОЩЕНКА (мощеная дорога) и др. обладают семантической ёмкостью и показывают тенденцию писателя к экономии языка.

Как в новых, так и в далевских словах писатель крайне скуп на использование переносных значений слова. Наоборот, он иногда доискивается до первичного, исходного, часто забытого значения слова и этим достигает своей художественной цели; примеры: +НЕУМЕЛЕЦ, +ДОБЫЧНИК, НЕУСТУПНЫЙ (от уступ, ступень), НАСМОТР, ОПУСК и др.

В отборе далевской лексики Солженицын не гонится за эффектом, за словом «почудней», позамысловатее, чтобы поразить неискушенного читателя. Напротив, он говорит, что «похвальба же далеко отскочившими и

потому безнадежно утерянными словечками здесь [в работе по обогащению языка] бесполезна»³⁹.

ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА

Характерно, что среди слов-«особенностей» в сочинениях Солженицына не встречается иностранных слов; также иностранные корни не используются в новообразованиях. Однако из этого нельзя заключить, что Солженицын нетерпим к иностранной лексике; он не отрецивается от иностранных слов, но и не злоупотребляет ими. Он принимает те, которые прочно вошли в русский словарь, но возражает против массового внедрения новых иностранных слов. В некоторых случаях он употребительные иностранные слова пытается заменить русскими либо своими новообразованиями (+НЕЗАМЕЧАНИЕ вместо игнорирования, +НАДВЫШЕНИЕ вместо градации), либо далевскими (ОЗОР, ОГЛЯД вместо горизонт).

В «языке предельной ясности» (на котором пытается говорить Сологдин «В круге первом») иностранные слова огульно заменены церковнославянскими или русскими. Такой радикальный путь Солженицын отвергает. Здесь у Солженицына опять расхождение с Далем, который в борьбе с «чужесловами» предлагал почти полную замену их чисто русскими народными словами; по Далю резонанс — отбой, голк, наголосок; адресовать — насылать; адрес — насылка; эгоизм — самотность. Если нужное слово не находилось в просторечно-диалектном словаре, Даль творил новое; отсюда появились: живуля (автомат), ловкосилие (гимнастика), соглас (гармония), мироколица, колоземица (атмосфера), синеалый (фиолетовый) и др. Все эти слова не привились в русском литературном языке. У Солженицына таких крайностей не наблюдается.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМЫ

Отношение Солженицына к церковнославянской стихии в русском языке неясно. В статье «Не обычай...» он по этому вопросу не высказывается. Возможно, что здесь опять чувствуется влияние Даля. Последний пишет, что из состава его словаря «церковный язык наш исключен; но приняты все выражения его, вошедшие в состав живого языка, также обиходные названия предметов веры и церкви. И славянских слов встречаем мы несколько в речи народной»⁴⁰. На самом деле Даль не только ввёл большое количество церковнославянских слов, которые не имеют отношения к названиям «веры и церкви» (длань, глад, младой, стогна, дщерь, дщи) и которые даже во времена Пушкина не употреблялись в живом языке, но даже иногда дает словарную статью под церковнославянским словом (глас), а не под русским (голос).

Такие слова, как СНИСШЕСТВИЕ, ДОБРОДЕНСТВИЕ, ВОСПИТЫВАТЬ (в смысле питать, кормить), ПОПУСТИТЕЛЬ, взяты, по-видимому, из Даля. Но имеются и церковнославянские новообразования: +ВОЗНОСЧИВО, +ВОЗНАДОБИТЬСЯ, +ВОСКЛУБИТЬСЯ, +ВОСОСТАВИТЬ и др. Употребление этих слов оправдано стилистически, например: «И тут же он остро ВОЗНОСЧИВО помолился про себя...» [здесь и дальше выделено мной. — В. К.] или «...удостаивался он СНИСШЕСТВИЯ примиряющего духа...»; здесь оба слова придают повествованию религиозно-мистическую окраску. В других случаях церковнославянские слова использованы в ироническом плане: «...Спиридон стал интенсивником ... уж затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что ДОБРОДЕНСТВИЮ такому подходит конец». Или: «И еще бы им теперь не радоваться жизни! Не любить Уш-Терек! и свою глинобитную хибарку! Какого еще им желать другого ДОБРОДЕНСТВИЯ?» В обоих примерах «доброденствие» советского интенсивника и

несчастных ссыльных, живущих в глинобитной хибарке, сомнительно.

Что же касается церковнославянских слов из литературного языка, то Солженицын пользуется ими довольно широко (во всяком случае, гораздо свободнее, чем его советские собратья по перу); примеры: бдение, тщание, денно и ночью, дочь, царские врата, ипостась, сияние и мн. др.

Церковнославянские слова преобладают также в «языке предельной ясности», например: ИСЧИСЛИТЕЛЬ (математик), +ЗИЖДИТЕЛЬ (инженер), +ОШАРИЕ (сфера), +ТИТЛ (тема) и др. Сологдин называет иностранные слова в русском языке «птичьими»⁴¹. Солженицын явно подчеркивает непрактичность обогащения языка таким путем: как только Сологдин попадает в ситуацию, где он должен отстаивать свои интересы, весь язык предельной ясности у него исчезает, и он начинает говорить обычным русским языком.

СЛОВАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ

Ниже приведены некоторые результаты анализа «особенностей» по частям речи и по суффиксальным группам внутри каждой части речи.

Среди слов-«особенностей» *существительные* представляют самую большую группу (около 400 слов). Половина существительных образована Солженицыным; другая половина взята из словаря Даля.

Бессуффиксные отглагольные существительные мужского и женского рода от приставочных глаголов (типа +ВЗГУЛ, +ПОСТУК, ВСКИД, ЗАПЛЕВ, +НАСТАВА, +ЗАПУЩЬ и т. п.) составляют четверть всех существительных-«особенностей». Мужской род значительно многочисленнее, чем женский род. Эти существительные считаются писателем «краткими, сильными»

и предпочитают распространенным длинным формам среднего рода на —НИЕ (типа сохранение, убывание).

В группе существительных, обозначающих конкретные понятия, слова женского рода преобладают. Наиболее представительные суффиксы: мужского рода —К (КАЧОК, +ЗАХОРОНОК), женского рода —ИН—А (+ИСКОРЧИНА, +УГЛУБИНА), среднего рода —ЬЕ (ЗАЩЕЧЬЕ, +СКРЕСТЬЕ).

Группа существительных, обозначающих отвлеченные понятия, состоит на две трети из слов женского рода и одну треть — среднего (только одно слово мужского рода: +ГРЕМЕЖ). Это объясняется тем, что Солженицын старается не вводить слов иностранного происхождения (на —ИЗМ, —АЖ). Из слов женского рода большинство имеет суффикс —К—А (+ИЗВИНКА, ПОЖИМКА) и суффикс —ОСТЬ (+БЕЗОПОРНОСТЬ, +НЕУНЫВНОСТЬ). Из слов среднего рода наиболее ярко представлены слова с суффиксом —НИЕ (ОСИЯНИЕ, +ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ, +ПЕРЕСТРАДАНИЕ); всё это — абстрактные отглагольные существительные.

Группа существительных с эмоциональной окраской почти вся состоит из существительных мужского и женского рода. В этой группе писатель использует 13 разных суффиксов. Суффиксы —К (+БУДЫЛЕК, +СТРАШОК, +ШЕЛОМОК) и —ИНК—А (+ГРАВИНКА, +ИГРИНКА) преобладают.

Группа субстантивированных прилагательных и причастий состоит всего из 10 слов (ИСКРОВОЙ, +СВИДАЮЩИЙСЯ, +ПОДЗАМОЧНЫЙ); имеется также 3 субстантивированных наречия (+ВПЕРЕД, +ИСКОСОК, УЖОТКО).

Группа составных существительных насчитывает более 40 слов (+ЗЕМЛЕРУБ, +ЧИНОЛЮБ, +СЛЕЗОГОВОРЕНИЕ); здесь солженицынские новообразования преобладают. Почти все типы сложения использованы писателем. Среди составных существительных название

абстрактных понятий и названия лиц более многочисленны.

«Особенности»-прилагательные насчитывают более 250 слов, из них около 180 солженицынских новообразований. Прилагательные с суффиксом —Н а) от основ существительных (+ГУЛЬНЫЙ, +НЕУРЯДНЫЙ, +ЖАЛЮЗНЫЙ, УПРЁЧНЫЙ); б) от глагольных основ (+СЕСТНЫЙ, +НЕОТИРНЫЙ, +РАЗМИННЫЙ) и в) от предложно-падежных сочетаний типа «до отказа» — +ДООТКАЗНЫЙ, «от сердца» — +ОТСЕРДЕЧНЫЙ являются наиболее распространенными в этой группе. Остальные прилагательные представлены разными суффиксами, среди которых наиболее употребительны: —ИСТ (+КАРТОШИСТЫЙ, +ЗАКАТИСТЫЙ, +РАЗЛАПИСТЫЙ), —ЛИВ (ДЫБЛИВЫЙ, +УСПЕШЛИВЫЙ), —ОВ/—ЕВ (СТИХОВОЙ, +СЫЧЕВЫЙ) и —СК (+БИТСКИЙ, ГАДСКИЙ); остальные суффиксы невыразительны.

Составные прилагательные представляют весьма обширную группу (более 80 слов). Используются все типы сложения (+ГОРЯЧЕГЛАЗЫЙ, +ПЛЮЩЕНОСЫЙ, +ЗЛОУПОРНЫЙ, +ХИТРОСМЕТЛИВЫЙ, +ИЗЗОЛОТО-СЕРЫЙ, +САМОБРОДНЫЙ, +ЗВЕРЕХИТРЫЙ, +ОДНОССЫЛЬНЫЙ, +ЗА-ТРИДЕВЯТЬ-ЗЕМЕЛЬНЫЙ). Эти прилагательные, дающие экономию языковых средств и отличающиеся лексической ёмкостью, по-видимому, пользуются особым вниманием писателя; им образовано 85% составных прилагательных.

Глаголы составляют вторую по величине группу; обнаружено более 350 глаголов, которые можно рассматривать как особенности языка Солженицына; из них 60% новообразований. Особое внимание писатель уделяет приставочным и приставочно-суффиксальным глаголам, которые в сумме — новые и далевские — составляют около 85% всех глаголов. Если принять во внимание причастия, деепричастия и большое количество отглагольных существительных и прилагательных, то

роль глагольного начала в этой особой лексике Солженицына составит около половины всех слов-«особенностей». В работе над языком пристрастие писателя к глагольным образованиям вполне естественно; именно глагол помогает писателю «дать движение, вскрывающее психологию» и найти нужный жест, характеризующий душевное состояние человека⁴².

Самая большая группа новых приставочных глаголов совершенного вида образована от основных глаголов несовершенного вида. В этой группе использованы почти все продуктивные приставки: В—, ВЗ—/ВС—, ВЫ—, ДО—, ЗА—, ИЗ—/ИС—, О—/ОБ—, ОТ—, ПЕРЕ—, ПО—, ПРИ—, ПРО—, РАЗ—/РАС—, С—, У—, которые не только меняют вид, но как-то модифицируют значение основного глагола, иногда придают глагольному действию дополнительный лексический оттенок (+ДОВИДЕТЬ, +ДОЗНАКОМИТЬСЯ, +ИСПЫЛИТЬ). Большинство таких образований писателя отличается тем, что они не составляют видовой пары с основопроизводящим глаголом, они одновидовые.

Особую группу составляют солженицынские глаголы совершенного вида, образованные приставочным способом от глаголов совершенного же вида (+ДОРЕШИТЬ, +ПОРАЗВИТЬСЯ). Разнообразие приставок (ДО—, ИС—, ПО—, ПРИ—, и некоторые другие) здесь ограничено по сравнению с предыдущей группой. Небольшая группа глаголов несовершенного вида образована посредством приставок (ПЕРЕ—, СО— и др.) от бесприставочных глаголов несовершенного же вида (+ПЕРЕПОЛУЧАТЬ, +СОМЫСЛИТЬ). В этих случаях приставки, не меняя вида основного глагола, в какой-то степени модифицируют семантику исходного глагола.

В исследовании сделана попытка сгруппировать одновидовые приставочные глаголы (110 слов) по способам глагольного действия (совершаемости), руководясь ограничением значения, модификацией значения или фазой протекания действия, указываемой пристав-

кой. Рассмотрены следующие способы действия: начинательный (+ВЗЖАЛИТЬСЯ), усилительный (+РАСПЕЛЕНИТЬСЯ), ограничительный (+ПОРАЗВИТЬСЯ), длительно-ограничительный (+ПРОБОЯТЬСЯ), смягчительный (+ПОПРИГАСНУТЬ) и результативный (6 разновидностей: +ОТЛИСТНУТЬ, +ДОЗНАКОМИТЬСЯ). Последний способ — самый распространенный среди «особенностей». В группах глаголов, составленных по способам действия, преобладают глаголы совершенного вида.

Бесприставочные глаголы составляют только 15% всех глаголов-«особенностей» и имеют суффиксы —А—ТЬ/—Я—ТЬ, —ОВА—ТЬ, —Е—ТЬ, —И—ТЬ, и —НУ—ТЬ. Большинство глаголов с суффиксом —А—ТЬ происходит от существительных (+ДОБЫЧИЧАТЬ); некоторые — от междометий (+ПФУКАТЬ). Глаголы с суффиксом —Е—ТЬ, происходящие от основ прилагательных, содержат весьма оригинальные новые слова (+ГРОМЧЕТЬ, +МОЛОЧНЕТЬ, +ПАСМУРНЕТЬ, +ЧИСТЕТЬ). Большинство глаголов в группе с суффиксом —НУ—ТЬ совершенного вида со значением мгновенности (однократности) действия (+ТЕРАНУТЬ, +ЦЕПАНУТЬ); они происходят от несовершенных многократных глаголов. Сюда же примыкают приставочные глаголы типа +ЗАТУРНУТЬ.

Причастия насчитывают около сотни слов; почти две трети их относятся к солженицынским образованиям. Подавляющее большинство причастий в контекстах употреблено в качестве прилагательных. Почти все причастия произведены от приставочных глаголов. Только четыре причастия образованы от бесприставочных глаголов: +МОЛОЧНЕЮЩИЙ, +БОРОЖДЕННЫЙ, +БЕРЕГОМЫЙ, +БОРМОТОМЫЙ. Имеются причастия, образованные от новых глаголов: +МОЛОЧНЕТЬ — +МОЛОЧНЕЮЩИЙ, +УСТРОЖАТЬ — +УСТРОЖАВШИЙ, +ВЫБЛЕСТИТЬ — +ВЫБЛЕЩЕННЫЙ. Некоторые причастия, по-видимому, предназначены

восполнить пробелы в литературном языке: +ЧЕРЕЗ-СЛЕДУЮЩИЙ⁴³, ПОЖАРЕННЫЙ⁴⁴ и др.

Деепричастия-«особенности» немногочисленны (более 20 слов); половина их образована писателем от глаголов, им же созданных (+ДОМЕДЛЯТЬ +ДОМЕДЛЯЯ, +ПРОКЛИКАТЬСЯ +ПРОКЛИКАЯСЬ). Кроме одного (+ЧЕРТЕЯ), все солженицынские деепричастия образованы от приставочных глаголов.

Наречия насчитывают более 200 слов; из них почти 80% образованы Солженицыным. Столь большая доля новообразований согласуется с планом писателя свободно образовывать наречия, «в которых таится главный задаток краткости нашего языка». Количественно группа наречий на —О (около 90 слов) преобладает над другими группами. В наречиях на —О (+БЕЗОТДАРНО, +ВОНЬКО, +НЕКМЕСТНО, +ОЧУДЕЛО) Солженицын пользуется как качественными, так и относительными прилагательными, следуя практике некоторых русских писателей. Наречия от существительных в творительном падеже (+ОХЛЯБЬЮ, +СКОРОХВАТОМ) выражают обстоятельственные отношения и имеют просторечно-разговорную окраску. В образовании новых наречий от существительных в винительном падеже с предлогом В— и НА— использованы некоторые далевские отглагольные существительные [+ВДОХВАТ — дохват (Д), +ВНАПАШКУ — напашка (Д)]. Несколько наречий на —О образованы от потенциальных, пока не существующих в русском словаре прилагательных (+ЗАГАДОЧНО).

Составные наречия (15 слов) и несколько простых наречий, заменяющие устойчивые фразеологические сочетания (+НЕКМЕСТНО — не к месту, +БЕСКОЛЕБНО — без колебаний, +ЗМЕЕМУДРО — мудро как змий и др.), согласуются с общим стремлением писателя к семантической ёмкости слова и к «краткости нашего языка».

Новшества, идущие вразрез с общепринятой слово-

образовательной практикой, представлены такими наречиями, как +НАИНЕУДОБНО, +ТОПОЛИНО, +ХАМЕЕ и др.

В языке Солженицына нет балагурства или щегольства кудряво-народными словечками; нет у него и словесных «фокусов» или «выкрутасов», в чем его обвиняли некоторые читатели и критики. Представленные здесь результаты лингвистического исследования показывают, что Солженицын провел большой и интересный опыт по возвращению русскому литературному словарю его бывшего богатства и по дальнейшему обогащению его за счет привлечения народной лексики. И в отборе далевской лексики, и в создании новых слов писатель стремится к точным мыслеёмким и вещественным словам, которые он не навязывает, а лишь предлагает. Какие из этих слов привьются в литературном языке, покажет время.

Статья основана на докторской диссертации автора «Словарные особенности языка Солженицына», написанной под руководством † проф. Б. Г. Унбегауна, Нью-Йоркский университет, Нью-Йорк, 1973. — Ред.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ А. Солженицын. Не обычай дегтем щи белить, на то сметана. «Литературная газета» от 4 ноября 1965 г.
- ² В. Даль. Толковый словарь, т. 1, стр. XIV.
- ³ Н. И. Фельдман. Окказиональные слова и лексикография. «Вопросы языкознания», 1957, № 4, стр. 64-73.
- ⁴ А. Солженицын. Не обычай...
- ⁵ А. Солженицын. Не обычай...
- ⁶ А. Солженицын. Не обычай...
- ⁷ И. А. Бодуэн де Куртене. Предисловие к новому, исправленному и дополненному изданию словаря Даля. «Избранные труды по общему языкознанию», т. 2, стр. 236.
- ⁸ А. Н. Толстой. О драматургии. Собрание сочинений, т. XIII.
- ⁹ Р. А. Будагов. Против словесных штампов. «Вопросы культуры речи», вып. № 2, 1959, стр. 3-6.
- ¹⁰ В. В. Виноградов. Заметки о языке советских художественных произведений. «Вопросы культуры речи», вып. № 1, 1965, стр. 57-58.
- ¹¹ Там же.
- ¹² В. В. Виноградов. Заметки о стилистике современной литературы. «Литературная газета» № 124 от 19 октября 1965 г.
- ¹³ И. Бунин. Собрание сочинений, т. I, изд-во Художественная литература, 1965, стр. 40.
- ¹⁴ Новые слова и значения. Словарь-справочник. Институт русского языка АН СССР. Изд-во Советская энциклопедия, М., 1971, стр. 8.
- ¹⁵ Там же, стр. 2.
- ¹⁶ Там же, стр. 3.
- ¹⁷ А. Солженицын. Не обычай...
- ¹⁸ А. Н. Кожин. Возрождение устаревшей лексики. «Русский язык в школе», № 3, 1957, стр. 35-39.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ «Литературная газета» от 4 ноября 1965 г.
- ²¹ А. Солженицын. Не обычай...
- ²² В. И. Чернышев. Правильность и чистота русской речи. «Избранные труды», т. 1, стр. 446.

- ²³ В. В. Виноградов. О языке Толстого. «Литературное наследство», тт. 35-36, стр. 117-220.
- ²⁴ Все примеры в скобках взяты из статьи «Не обычай...».
- ²⁵ Все примеры новообразований Солженицына в статье отмечены значком + перед словом. (Д) — обозначает слово, взятое в словаре Даля.
- ²⁶ Цитата взята из статьи А. М. Бабкина. «Толковый словарь В. И. Даля». Владимир Даль, Толковый словарь, т. 1, Государственное изд-во иностранных и национальных словарей, М., 1955, стр. X.
- ²⁷ Известия» от 17 января 1964 г.
- ²⁸ А. Солженицын. В круге первом, стр. 494.
- ²⁹ Л. В. Щерба. Современный русский литературный язык, «Избранные работы по русскому языку», Учпедгиз, 1957, стр. 126.
- ³⁰ М. В. Канкава. В. И. Даль как лексикограф. Изд-во «ЦОД-НА», Тбилиси, 1958, стр. 52.
- ³¹ В. И. Чернышев. Избранные труды, т. 1. Изд-во Просвещение, Москва, 1970, стр. 356.
- ³² Т. Г. Винокур. О языке и стиле повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Вопросы культуры речи», вып. № 6, 1965 г.
- ³³ Н. М. Шанский. Очерки по русскому словообразованию. Изд-во Московского университета, 1968, стр. 254.
- ³⁴ Л. В. Щерба. Современный русский литературный язык. Избранные работы по русскому языку. Учпедгиз, 1957, стр. 122.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ А. Солженицын. Не обычай...
- ³⁷ Л. В. Щерба. Современный русский литературный язык. Избранные работы, стр. 122.
- ³⁸ А. Солженицын. Не обычай...
- ³⁹ А. Солженицын. Не обычай...
- ⁴⁰ В. Даль. Толковый словарь. О русском словаре, т. 1, стр. XXX.
- ⁴¹ Этот термин Солженицын, по-видимому, взял из воспоминаний А. И. Герцена «Былое и думы» (М., 1968, стр. 343), где русский язык, насыщенный иностранными словами, «астроном Перевощиков называл ... птичьим языком».

⁴² Алексей Толстой. Собрание сочинений, т. X, стр. 144.

⁴³ В нормативном языке есть «завтра» и «послезавтра», но не было слова для обозначения дня следующего за следующим; слово +ЧЕРЕЗСЛЕДУЮЩИЙ родственно выражению «через день», что делает логичным это новообразование.

⁴⁴ Относится к месту пожара, в отличие от «пожарный».

КОРОТКО О КНИГАХ И ЖУРНАЛАХ

Н. АРСЕНЬЕВ. Дары и встречи жизненного пути. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 340 стр.

Эта книга содержит воспоминания автора о жизни в дореволюционной России, о Московском университете (1906 - 1910 гг.), о разных представителях русской интеллигенции. В книге содержатся также статьи о русских религиозно-философских мыслителях и статьи, затрагивающие более общие темы и проблемы, как, например, проблему единения христиан, тему духовной и культурной традиции русской семьи и др.

БИБЛИОТЕЧКА СОЛИДАРИСТА. Редактор-составитель Роман Редлих. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1973-1974.

«Библиотека солидариста» состоит из коротких брошюр-справок. Есть две серии: философская и политическая. Философская содержит в себе: «Социальная философия С. Л. Франка» (вып. 1); «Философия духа Н. А. Бердяева» (вып. 2); «С. А. Левицкий — философ-солидарист» (вып. 3); «Соборность и солидарность в философии братьев Трубецких» (вып. 4); «Диалектика Б. П. Вышеславцева» (вып. 5); «Солидаризм и диалектика» (вып. 6); «О сопротивлении злу силой. По монографии И. А. Ильина» (вып. 7); «Что такое персоналистический солидаризм. По С. А. Левицкому» (вып. 8). Политическая серия включает в себя: «Права человека и гражданина» (вып. 1); «Свобода союзов» (вып. 2); «Семья и нация» (вып. 3); «Об устройстве власти» (вып. 4); «Проблемы мироустройства» (вып. 5); «Солидарность и общественное развитие» (вып. 6). Восемь выпусков философской серии содержат 374 стр. Шесть выпусков политической — 240 стр. Каждый выпуск рассматривает отдельную проблему, поэтому выпуски независимы друг от друга. Темы и проблемы в них связаны мировоззрением свободы, которое не может и не должно становиться свободой от мировоззрения.

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ. Генеральная репетиция. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 250 стр.

Сюжет произведения — история запрещения постановки пьесы А. Галича «Матросская тишина». Запретили ее после просмотра пьесы на генеральной репетиции в Студии Московского Художественного театра. Автор рисует широкую картину жизни московских театральных и литературных кругов, с которыми А. Галич был тесно связан более тридцати лет.

РОЖЕ ГАРОДИ. Крутой поворот социализма. Пер. с франц. В. Володина. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 332 стр.

Автор — в прошлом главный идеолог французской коммунистической партии, восставший против сталинизма. В своей книге он ратует за «социализм с человеческим лицом».

А. КАЗАНЦЕВ. Третья сила. Второе издание. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 352 стр.

Книга посвящена предпринятой в 1941-1945 гг. миллионами русских людей попытке освободиться от коммунистической власти и в то же время отстоять независимость своей страны от внешнего врага. Эта беспрецедентная в мировой истории попытка, закончившаяся трагически, описана очевидцем и непосредственным участником, лично знавшим многих выдающихся борцов за освобождение России.

Т. ЛОПУХИНА-РОДЗЯНКО. Духовные основы творчества Солженицына. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 180 стр.

Анализируя произведения А. Солженицына, автор книги приходит к выводу, что всё творчество писателя направлено на раскрытие духовного мира человека. В книге подробно рассмотрены образы праведников, встречающихся в произведениях Солженицына, трактовка писателем проблемы сохранения чистой совести в современном мире, понимание справедливости как совести «всего человечества сразу».

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. Прощание из ниоткуда. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 428 стр.

Автобиографическое произведение, в художественной форме повествующее о тяжелых годах детства и юности, выпавших на долю писателя. В книге дана широкая картина жизни самых разнообразных людей в различных уголках нынешней России. В произведении описаны и первые шаги В. Максимова на писательском поприще.

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ. Денис Бушуев. Том первый. Второе издание. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 470 стр.

На фоне трагических событий, совершавшихся в тридцатых годах в одном из приволжских сёл, автор показывает формирование характера главного героя романа, талантливого писателя — Дениса Бушуева. В свое время, вскоре после второй мировой войны, роман, появившийся впервые в журнале «Грани» (№№ 6-7, 1949), был высоко оценен знатоками русской прозы писателями И. А. Буниным, Б. К. Зайцевым, Марком Алдановым и другими.

Г. ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ. Золотой век. Vers libres. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 174 стр.

Эта книга принадлежит перу известного деятеля демократического движения в СССР. Его творчеству присущи острый интерес к вопросам современности, ярко выраженный гражданский пафос, определенность авторского мировоззрения.

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Мир и насилие. «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1974. 104 стр.

В состав книги входят: интервью, данное А. Солженицыным западным корреспондентам 23 августа 1973 г.; статья «Мир и насилие»; письмо А. Солженицына в газету «Афтенпостен» от 25 мая 1974 г.; интервью, данное А. Солженицыным Уолтеру Кронкайту 17 июня 1974 г.; речь А. Солженицына при получении премии «Золотое клише». Эти выступления писателя объединены общей мыслью о неправильном понимании «мира», о том, что внешний мир невозможен при внутригосударственном насилии.

КОНТИНЕНТ № 1 Литературный, общественно-политический и религиозный журнал. Издательство «Континент». 1974.

Главный редактор — Владимир Максимов. Ответственный секретарь — Игорь Голомшток. При сотрудничестве: Дж. Бейли, А. Галича, Е. Гедройца, Г. Герлинг-Грудзинского, М. Джиласа, В. Зидлера, Э. Ионеско, Н. Коржавина, Р. Конквеста, Л. Пахмана, А. Сахарова, И. Силоне, А. Синявского, Странника (архиепископа Иоанна Сан-Францисского), И. Чапского, З. Шаховской, А. Шмемана, К.-Г. Штрёма.

Главные цели и принципы журнала формулируются следующим образом: 1) безусловный религиозный идеализм; 2) безусловный антитоталитаризм; 3) безусловный демократизм и 4) безусловная беспартийность. Основные задачи журнала: «объединение и сотрудничество всех антитоталитаристических сил Восточной Европы в их диалоге с Западом», создание вокруг журнала «объединенного континента всех сил антитоталитаризма в духовной борьбе за свободу и достоинство Человека». В первом номере журнала напечатали свои статьи, стихи, прозу и воспоминания А. Солженицын, Э. Ионеско, А. Сахаров, И. Бродский, Вл. Корнилов, Странник, А. Терц (А. Синявский), И. Голомшток, А. Пятигорский, М. Джилас, Л. Пахман, К.-Г. Штрём, З. Шаховская и кардинал Миндсенти.

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Кьяромонте, Никола. Парадокс истории. Стендаль, Толстой, Пастернак и другие. Перевел с английского Михаил Буранов. Edizioni Aurora. Firenze. 1973. Стр. 205.

Оккультизм и йога. Книга пятьдесят пятая, посвященная русскому мартинизму. Асунсион. Парагвай. 1973. Стр. 160.

Пылин, Борис. Первые четырнадцать лет (1906 - 1920). Калифорния. 1972.

Филиппов, Борис. Ленинградский Петербург в русской поэзии и прозе. Издание второе, пересмотренное и дополненное. 1974. Стр. 72.

Филиппов, Борис. Живое прошлое. Вашингтон. 1973. Стр. 48.

Bach, Richard. Jonathan Livingston Seagull. A story. Photographs by Russell Munson. Pan Books Ltd. London. 1973. Pp. 94.

Bonner Almanach 1974. Mit Sonderteil 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Herausgeber: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Krupp Grafische Anstalt, Essen. Ss. 407.

Maurina Zenta. Kleines Orchester der Hoffnung. Essays zur östlichen und westlichen Literatur. Maximilian Dietrich Verlag. Memmingen/Allgäu. 1974. Ss. 251.

Szechter Szymon. Czas zatrzymany do wyjaśnienia. Kontra. London. 1972. Ss. 187.

UdSSR. Opposition. Eine neue Geisteskrankheit in der Sowjetunion? Eine Dokumentation von Wladimir Bukowskij. Herausgegeben von Jean-Jacques Marie. Carl Hanser Verlag. München, 1971. Ss. 112.

Young, Patricia. Hausierer mit dem Tod. Der Opiumkrieg der chinesischen Kommunisten gegen die Freie Welt. Seewald Verlag. Stuttgart. 1974. Ss. 72.

От редакции: в прошлом № 92-93 нашего журнала по недосмотру типографии было пропущено: **«Редактирует Редакционная Коллегия. Главный редактор Н. Б. Тарасова. Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко. — Адрес редакции журнала «Грани»: Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim, Flurscheideweg 15. Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main.**

**Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н. Б. Тарасова**

Адрес редакции журнала «Грани»:
**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,
Flurscheideweg 15**

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main



Редакция с грустью отмечает
смерть

Георгия Тимофеевича
Нашиваненко

ответственного секретаря
редакционной коллегии
журнала

Новые книги издательства «ПОСЕВ»

АРСЕНЬЕВ Н. С.

Дары и встречи жизненного пути

Большой формат, мягкий переплет. 340 стр.

Цена 24.— н. м.

ГАЛИЧ АЛЕКСАНДР

Генеральная репетиция

Малый формат, гляцевитая обложка. 244 стр.

Цена 16.50 н. м.

ГАРОДИ РОЖЕ

Крутой поворот социализма

Малый формат, гляцевитая обложка. 332 стр.

Цена 18.80 н. м.

КАЗАНЦЕВ А.

Третья сила

Карманный формат, гляцевитая обложка. 372 стр.

Цена 18.80 н. м.

ЛОПУХИНА-РОДЗЯНКО Т.

Духовные основы творчества Солженицына

Большой формат, гляцевитая обложка. 180 стр.

Цена 12.80 н. м.

МАКСИМОВ В.

Прощание из ниоткуда

Большой формат, суперобложка. 428 стр.

Цена 27.— н. м.

МАКСИМОВ СЕРГЕЙ

Денис Бушуев

Том первый. 2-е изд.

Большой формат, суперобложка. 470 стр.

Цена 27.80 н. м.

ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Г.

Золотой век. Vers libres

Карманный формат, гляцевитая обложка. 174 стр.

Цена 14.50 н. м.

СОЛЖЕНИЦЫН А.

Мир и насилие

Карманный формат, гляцевитая обложка. 104 стр.

Цена 8.— н. м.

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

**В Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:**

**При подписке непосредственно из издательства —
36,— н. м.**

**При подписке через представителей и книжные магазины —
43,— н. м.**

**Цена в розничной продаже — 10,— н. м.
(двойной номер — 20,— н. м.)**

В США и КАНАДЕ:

**При подписке непосредственно из издательства —
15,— ам. дол.**

**При подписке через представителей и книжные магазины —
18,— ам. дол.**

**Цена в розничной продаже — 4,— ам. дол.
(Двойной номер — 8,— ам. дол.)**

**Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу**

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheldeweg 15

**или же банковским переводом на
Konto 2 412 753, Dresdner Bank, Frankfurt/M.**

**Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.**